



Архаровцы

Даля Трускиновская
Подметный манифест

«Автор»

2005

Трускиновская Д. М.

Подметный манифест / Д. М. Трускиновская — «Автор»,
2005 — (Архаровцы)

Третий роман из цикла «Архаровцы». На Москве неспокойно. Бродят слухи, что бунтовщик Емельян Пугачев, объявивший себя императором Петром III, со дня на день нагрянет в старую столицу. Часть аристократии и духовенства уже готова примкнуть к самозванцу. И, конечно, ситуацией пытаются воспользоваться московские воры во главе со знаменитым Ванькой Каином. Навести порядок способны только люди обер-полицмейстера Архарова...

© Трускиновская Д. М., 2005

© Автор, 2005

Содержание

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	99

Далия Трускиновская

Подметный манифест

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

– Архаровцы сбесились! – пронеслось по Мясницкой.

Ко всяким чудесам привыкло здешнее население, и суета вокруг Рязанского подворья на Лубянской площади стала делом привычным. Но такого еще не видывали.

Бежали двое в расстегнутых мундирах, причем один был за старшего, а другой, страхолюдный, тащил нечто округлое и рогожей окрученное. Бежали, переругиваясь, причем старший, понятное дело, торопил, а подчиненный жалился на жар и грозился свой ценный груз уронить. Так и вышло. Однако подчиненный, споткнувшись, уже в полете умудрился отбросить ношу подальше. Тут и оказалось, что архаровцы тащили к себе на подворье немалый котелок с крутым кипятком.

Котелок с грохотом покатился, пугая баб, кипяток расплескался, визгу было – в Кремле, поди, услышали.

Упавший вскочил, подобрал рогожу, догнал котелок, сквозь нее ухватился за края и понесся назад, а старший – за ним, поражая слух москвичей разнообразными посылами. Оба вбежали в известный трактир «Татьянка». Там их встретили весьма громогласно. Несколько минут спустя по Мясницкой пробежал к трактиру всем известный парнишка, служивший в полиции на посылах, по прозвищу Максимка-попович, и тоже сгинул в недрах «Татьянки». Не успела окрестная публика, приказчики при дверях хозяйских лавок и уличные торговцы с торговками, обменяться мнениями относительно этой беготни, как выскочил старший из полицейских служителей.

Его многие знали в лицо и в глаза называли ласково – Федя, а то и почтительно – Федор Игнатьич. За глаза же – Федька-мортус или даже Федька-негодяй (ни для кого на Москве не было секретом, откуда взялись архаровцы; коли не все, так немалая их часть; а в слово «негодяй» большого зла не вкладывали – ну, прозвали так мортусов в чуму, и прозвали, что ж теперь делать!).

Федька завертелся, высматривая нечто нужное, и с криком «Стой, тетка, стой!» кинулся хватать просто одетую бабу, в крашенинном сарафане, но в кокошнике, выложенном бусами, от дома к дому тащившую за собой тележку, на коей стоял бочонок с коровьим маслом.

Внимание полиции мало кому из уличных торговек лестно, и баба попыталась удрать. Федька догнал ее и потребовал ссудить для государственных нужд тележку. Баба поняла, что ее грабят, и подняла крик. Тут-то и полетело по Мясницкой заполошное:

– Архаровцы сбесились!

Сам Архаров, не ведая о переполохе, сидел в это время в своем кабинете в палатах Рязанского подворья, а перед ним торчали трое. Двух из них, заломив им руки за спины, держали полицейские, третий в таких любезностях не нуждался, да и хватать его было опасно для мундира – как раз перемажешься о большой, когда-то белый холстяной, теперь серый от стирки и испещренный кровавыми пятнами фартук. Тут же сидел в углу канцелярист – ветеран, служивший со времен чуть ли не государя Петра Алексеевича, которого молодежь называла – старик Дементьев, и никак иначе, ласкательно же – старинушка, почтительно – старичина, а коли сотворит в бумагах смешную описку – потчевали неведомо откуда занесенным словечком «старбенья». Слово байковского наречия «гиряк» почему-то в полицейской конторе не прижилось и к Дементьеву не применялось.

Возле архаровского стола стоял Тимофей Арсеньев. А на столе возле сдвинутых в сторону бумаг лежал кошель из вытертого бархата с остатками золотого шитья.

– Где же эти дармоеды запропали? – недовольно спросил Архаров Тимофея, спросил вполголоса, чтобы посторонние не расслышали. – Им уж давно быть пора.

– Я Максимку спосылал, – отвечал спокойный и рассудительный, как всегда, Тимофей.

– Далеко ли отсюда до «Татьянки»!

– Блиско, – согласился Тимофей. – Да только воде не прикажешь – раньше срока не закипит.

Архаров недовольно фыркнул.

– Ваше сиятельство! – взвыл один из схваченных. – Да нет же ни в чем нашей вины! Деньги те мне дал тесть, и с кошельком вместе, просил по дороге зятю отнести! Мало ли что кому привидится!

– Ловко, – одобрил Архаров. – И знать, сколько в том кошельке денег, тебе неоткуда. Сразу видать подьячего!

О том, что в кабинет притащили именно площадного подьячего, из тех, что за гроши пишут прошения и «явочные», он знал с первого же взгляда: коротковатый обшмыганный кафтанишко, пальцы в чернилах, за ухом перо. Сидит такой бес при дверях присутственного места, мало чем краше побирушки, а копнешь – и в Замоскворечье у него домишко прикуплен, и в Ростокине землю огородникам в наем отдает, и, сказывали, хочет войти в долю к купцу Милютину, чья шелковая мануфактура всей Москве известна.

Тут за дверьми раздались возмущенные голоса. Тимофей тут же бросился отворять.

Явился Федька Савин, взъерошенный, потный, за ним Степан Канзафаров нес котелок с кипятком, гораздо меньше того, который опрокинулся. Следом сунулась было баба в сбившемся набок кокошнике, но кто-то перехватил ее, и Тимофей тут же захлопнул дверь.

– Ваша милость, стул надобен! – воззвал Федька.

– Ну? – спросил Архаров. – Мне за ним бежать?

Степан опустил котелок наземь, снял крышку и встал рядом на корточках, придерживая за край, чтобы посудина не опрокинулась. От котелка шел густой пар.

– Сойдет, – сказал Архаров. – Итак. Ты, Иван Семенов, при торговле держал зачем-то кошель с выручкой на видном месте.

– Так ваше ж сиятельство! – возопил Семенов – мужчина росту низкого, крепкий и румяный, с обстриженными в кружок смоляными волосами, даже при всем переполохе, связанном с воровством, сохранившими достойный вид – зачесанные на лоб гладкие короткие прядки. – Торговля у нас живая, кто же станет тухлое мясо брать? Как приносят молодцы с ледника, так тут же народ и разбирает, из рук рвут! Некогда деньги прятать!

– Стало быть, вы с приказчиком вели торговлю, а этот вот... – Архаров заглянул в бумагу. – Сказавшийся Фаддеем Крючковым, так?

– Так, ваше сиятельство! – подтвердил второй задержанный. – Крюковы мы, из мещан, пришел баранины во щи взять – хватают, бьют, на Лубянку волокут!

– Тихо! – весомо приказал Тимофей и показал кулак. – Недосуг ваши визги слушать.

– Давай экстракт, – велел Архаров.

– Экстракт таков: мясник Семенов утверждает, что пока Крюков ему голову морочил да мясо перебирал, подьячий Овчинников стянул кошель с выручкой и кинулся наутек. Семенов закричал, молодцы кинулись вдогон, успели схватить, а приказчик поймал Крюкова. И тут же всей ордой – на Лубянку.

– Ты, Семенов, говоришь, что кошель – твой, а ты, Овчинников, что – твоего тестя, – попытожил Архаров. – Ну, Господи благослови, сейчас правда и выплывет.

Он встал, развязал кошель, сделал два шага – и высыпал серебро с медью в котелок.

– Степан, помешай палкой, поставь на холод, – велел он Канзафарову. – Коли это твои, Овчинников, деньги, ничего с водой не сделается. А ты, Семенов, когда торговлю вел, засаленными пальцами за монеты хватался. Стало быть, коли деньги твои – то непременно жир наверх всплывет.

Крючков громко ахнул, подъячий разинул рот, а мясник грохнулся на колени.

– Батюшка ты наш! – воскликнул он. – Как же я сам-то не додумался! Век за тебя Бога молить буду!

– Моли, да впредь не будь вороной, – сказал ему Архаров. – Не уходи, пока вода не остынет. Федя, присмотри, чтобы все было честь по чести, а я к его сиятельству.

Выйдя из кабинета, он обнаружил у самых дверей торговку маслом, смиренно стоящую на коленях.

– Тебе чего, баба? – спросил он.

– Тележку, батюшка, твои архаровцы отняли, тележку!

Архаров медленно оглядел стоящих в коридоре подчиненных.

– Какая такая тележка?

– Это, ваша милость, Федор Игнатьич взял, чтобы котел с кипятком везти, – объяснил Максимка-попович.

– Ну так верните.

– Она в «Татьянке» осталась.

– Это как?

– Думали большой котел везти, потом решили, долго ждать, пока закипит, взяли маленький. Чтобы вашу милость ожиданием не утруждать, – сказал ловкий Максимка.

Архаров вздохнул, махнул рукой и пошел прочь. Баба вскочила, побежала следом, едва не кинулась в двери разом с обер-полицмейстером, кто-то успел удержать.

В карете его ждал секретарь Саша Коробов. Когда дверца распахнулась, он с неохотой закрыл толстую книжищу – явно какую-то невразумительную математику.

– К его сиятельству! – сказал кучеру Сеньке Архаров.

Тот знал – барин имел в виду московского градоначальника князя Волконского. И, дождавшись, пока Архаров заберется в экипаж, подстегнул лошадей – подстегнул уважительно, просто давая им понять – трогайтесь, милые, спешить некуда, все равно по московским улицам больно не разгонишься.

– Книгу купил? – спросил Архаров секретаря.

– Купил, только не знаю, Николай Петрович, угодил ли, – Саша достал из кожаного кармана на стенке экипажа французский томик.

– И что же это? Новинка?

– Сказывали, многие берут. Это «Влюбленный дьявол» господина Казота.

– Тьфу, не к ночи будь помянут! – воскликнул Архаров и перекрестился. – И это ты мне вздумал читать на сон грядущий?

– Сами же просили книжонку позанимательнее и на французском наречии. А сию многие хвалили.

– Бог с тобой, рискнем...

Архаров во многих вопросах пренебрегал мнением всего человечества и находил свои пути. Так обстояло дело и с изучением французского языка. Вместо того, чтобы нанять учителя да и твердить вместе с ним вокабулы, Архаров велел Саше купить книгу, чтобы читать ее вслух и тут же переводить на русский. За неимением Саши это мог делать и Клаварош. Способ, конечно, мудреный, но вообразить обер-полицмейстера с тетрадкой, полной неправильных глаголов, и трепещущего перед учительской розгой было бы еще диковиннее.

Взяв из Сашиных рук томик, Архаров посмотрел картинки и несколько удивился, увидев на одной выглядывавшую из разверстого облака верблюжью морду. Похоже, роман и впрямь

был занимательный – не то что странствия из постели в постель пригожей поварихи Мартоны, про которую поведал миру господин Чулков.

Когда доехали до Воздвиженки, Саша остался в карете со своей преогромной арифметикой, или что он там читал с упоением, а Архаров с достоинством вошел в сени, где был встречен поклонами княжьей дворни.

Князь Волконский с супругой, Елизаветой Васильевной, ждали его в столовой – без него за стол не садились. Гостеприимная Елизавета Васильевна скучала по сыновьям – оба были в Санкт-Петербурге, при ней жила лишь дочь, предмет ее большой тревоги – Анне Михайловне уж исполнилось двадцать пять лет, давно пора быть замужем, и вроде бы удалось сговорить девицу за князя Голицына, однако пока не зазвонят колокола, сопровождая торжественный выход из храма новобрачных, сердце все будет не на месте – уж больно хорош собой князь, и не одна матушка рада бы заполучить в зятя недавно овдовевшего Голицына. Так что княгиня привечала Архарова не только в силу его должности, не только чтобы угодить мужу, видевшему в нем доброго товарища, не только по-матерински – он ей по годам в сыновья годился, – но и с тайной мыслью: коли не сладится с Голицыным, вот ведь тоже весьма достойный жених...

Может статься, и сама княжна, при всей ее сердечной склонности к красавцу Голицыну, разумно глядела на жизнь и потому вышла к гостю в прелестном платье, серебристо-сером с розовой отделкой и розовыми же бантами, в изящной наклке на высокой прическе. Прическа эта Архарова несколько смутила – волосы надо лбом поднимались на добрых три вершка. Таким образом княжне невольно делалась почти одного с ним роста, а Архаров, как многие кавалеры, полагал, что на женщину должно смотреть сверху вниз.

На сей раз гостя потчевали не только разносолами, но и частными письмами из столицы – их с курьерской почтой доставили несколько, в том числе долгожданные – родственницы на разные лады докладывали про бракосочетание цесаревича Павла. Ради новостей Архаров, собственно, и приехал. Как и положено в женской болтовне, лукавство и небрежная язвительность никого не щадили, мимоходом раскрывая государственные тайны и словно бы не придавая громким именам ни малейшего значения.

– «А сказывали, по дороге за принцессой младший Разумовский весьма волочился и тем всю свиту сильно обеспокоил, – читала вслух княгиня Волконская, мало беспокоясь, что незмужняя дочь слушает про такие проказы. – И из того жалкую участь для мужа прелестницы предвидят, ибо сей в сравнении с Разумовским...»

Анна Михайловна, сидя на канапе с девичьим рукодельем (не чулок вязала, Боже упаси, а работала иголкой с тонкой ниточкой шитое кружево), мечтательно улыбалась – Разумовского она помнила по Санкт-Петербургу, кавалер был отменный, принцессе Вильгельмине с самого начала замужества повезло с махателем – все же знают каков купидон ее нареченный жених, ныне – уже супруг Павел Петрович.

– Будет тебе, сударыня, – прервал супругу Волконский. – Ты бабы домислы пропускай, ты дело говори.

Он, помня давние порядки, не хотел даже слушать о том, что красавчик и бойкий кавалер Андрей Разумовский ухлестывал за невестой наследника Павла Петровича, коли вдуматься – за будущей российской императрицей. Чем менее знаешь про такие шалости – тем лучше. Мало ли было случаев, когда болтуна, всего лишь намекнувшего на амурные дела той или иной государыни, учили уму-разуму на дыбе...

Дальше Елизавета Васильевна читала исключительно трогательные и благопристойные фразы – про то, как Павел Петрович из трех дочерей герцогини Дармштадской, коих матушка привезла в Россию, влюбился с первого взгляда именно в Вильгельмину, которая и была назначена государыней Екатериной ему в невесты. И про то, как 29 сентября праздновали свадьбу Вильгельмины, принявшей православное имя Натальи Алексеевны, с цесаревичем Павлом Петровичем, и в каком платье изволила быть государыня – в русском, из атласа, расшитом

жемчугами, и в мантии, опушенной горностаем, и про свадебный обед в тронном зале Зимнего дворца, и...

В описании свадьбы явилось нечто, заставившее Елизавету Васильевну вдруг замолчать и покоситься на мужа, как бы спрашивая дозволения.

– Ну, что там еще за шашни? – спросил князь.

– «К концу брачных торжеств стало ведомо о разбойнике, появившемся в Оренбургской губернии, и что велит себя звать государем Петром Федоровичем...» – прочитала княгиня.

Архаров и Волконский переглянулись – ничего себе подарочек!

Им даже незачем было обмениваться мнением по сему поводу – они и так знали, что оба думают об одном и том же.

Непременно в тот же день новобрачный Павел Петрович, услышав новость, стал приставать к ближним, и к графу Панину главным образом, с вечным своим вопросом: точно ли они убеждены, что его отец, покойный государь Петр Федорович мертв? В могиле? Не под замком в дальнем монастыре? Откуда при желании можно утечь хоть в оренбургские, хоть в какие иные степи?..

И у него имелись немалые основания для таких вопросов.

Во время «шелковой революции» Павлу было неполных восемь лет. Мальчику мало что растолковали – он только понял, что больше у него нет отца, но в смерть бывшего императора Петра Федоровича верить не желал. Мать, сменившая отца на престоле, была слишком занята делами государственными. И, как известно, умершего любить проще, чем живых, – умерший уже не понаделает роковых ошибок...

Позднее Павел Петрович стал потихоньку выяснять обстоятельства отцовской кончины.

Получалось так, что свидетели оной кончины – исключительно друзья, приятели, сторонники, а не исключено, что и любовники его матери.

Когда Екатерина, убежденная, что промедление смерти подобно, примчалась из Петергофа, где жила отдельно от мужа, в Санкт-Петербург и, выскочив из кареты возле казарм Измайловского полка, сказала сбежавшимся солдатам и офицерам, что супруг-император приказал убить ее с сыном, что убийцы скачут по пятам, сам Петр Федорович находился в Ораниенбауме с верными ему голштинцами. Он много куда мог уйти, но, узнав про восстание гвардейских полков, заметался, а пока маялся нерешительностью – обнаружил, что все пути перекрыты. Тогда он сочинил отречение от престола и отправил его мятежной супруге. Далее – был арестован и отвезен в Петергоф. Там, рыдая, ждал решения своей участи. Одну из его просьб Екатерина исполнила – Петра Федоровича отвезли в Ропшу, его имение, подаренное покойной тетюшкой Елизаветой Петровной.

И далее все выглядело весьма сомнительно.

Охранять низложенного российского императора был приставлен брат новоявленного фаворита Екатерины, Алехан Орлов. Никого к пленнику не пускали, и проверить, точно ли он от волнений расхворался, как докладывали государыне, совершенно невозможно. Петр писал супруге записки по-французски и просился в Германию.

Павлу Петровичу рассказали, что Алехан доподлинно слал донесения о крепчающей хворобе Петра Федоровича, но рассказывали с ухмылкой – как если бы решительный Алехан, вздумав освободить государыню от того, кого называл не иначе, как уродом, понемногу готовил и ее, и весь двор к этому событию. И, сообщая, что объявленной причиной смерти императора были геморроидальные колики, всем видом давали понять – ложь, ложь, ложь!

Отравлен или удушен – вот что старались донести до юного царевича втихомолку фрондирующие царедворцы. Но мертвого тела с признаками ужасной смерти никто из них не видел.

Нашелся кто-то поумнее прочих, растолковал, что скоропостижная смерть супруга была страх как невыгодна государыне в первые дни ее правления. И тем зародил надежду...

Коли отец жив, но надежно упрятан, он ведь может вернуться и прийти на помощь единственному своему сыну! Ведь по всем законам божеским и человеческим Екатерина, приняв на себя правление страной до возмужания сына, должна была уступить ему престол. А вот не уступала же. И про это добрые люди остороженько нашептали – так, легчайшими намеками...

Павлу Петровичу только позабыли сказать, что Петр Федорович никогда не считал его своим сыном и вслух недоумевал, откуда у великой княгини берутся вдруг и беременности, и дети.

Сейчас, в девятнадцать лет, наследник российского престола все еще ждал чуда.

Неудивительно, что оно ему вновь примерещилось.

Обменявшись взглядами, Волконский и Архаров разом вздохнули. Но обсуждать положение не стали, а дослушали до конца письмо со всеми поклонами и нежностями. Затем отдали должное разносолам.

После чего Архаров засобиравшись домой. Но уже в карете понял, что на Пречистенку не хочет, и велел Сеньке ехать, куда его душенька пожелает. Саша обрадовался и попросил довести его до Варварки – там у него в Псковском переулке жил приятель-студент, такой же страстный книжник, так чтобы забрать у него какие-то драгоценные фолианты.

Поехали на Варварку... на Варварку, куда Архаров сам бы не отправился, однако был даже благодарен Саше – потому что Варварка уже хранила некие воспоминания.

Архаров чувствовал, что все в мире повторяется. Уже была в его жизни московская осень, исполненная тревоги и одиночества, чумная осень семьдесят первого. Два года прошло – и снова полетела над Москвой первая желтая влажная листва, прилипая к стенкам экипажей, к конским бокам, к мундирам, к дамским платьям и душегреям мешчанок, к бархатным кафтанам и домотканым армякам.

Он еще не видел разумного повода для беспокойства. Где оренбургская степь и где Москва? Но его вышколенная подозрительность, когда нужно было, отметала доводы разума. Вечно всем недовольная Москва, казалось, только и ждала, чтобы объявился какой-либо возмутитель спокойствия. Тут собрались многие, сочувствующие Павлу Петровичу и не понимающие, как возможно, чтобы государыня Екатерина не уступила трон законному его владельцу. Волконский ворчал, что всякий приезд в Москву графа Панина, воспитателя наследника, чреват тайными сговорами, и может статься, что именно тут, а не в Санкт-Петербурге, уже выношен комплот, ставящий целью устранение государыни и возведение на престол ее сына. Вот и недавно, когда Панин изволил в сентябре посетить свое подмосковное село Михалково, князь нарочно просил у Архарова людей для наблюдения за ним, и тут уж не обошлось без Шварца – он сам взялся за это дело, испросив всего лишь полсотни рублей. Кого он подослал в Михалково – князь Волконский так и не дознался, однако сведения оттуда шли исправно, а на расспросы Архарова осторожный немец отвечал одно: чем менее народу знает о его тайных лазутчиках, тем лучше.

Кем бы ни был тот степной бунтовщик, а одним своим появлением он уже мог доставить беспокойному городу немалое удовольствие. Так понимал Архаров, и эта особенность Москвы нравилась ему все менее и менее. Многие из тех, кто весело и с издевкой кажут кукиш в кармане самой государыне, о подлинном бунте не помышляют, им довольно речей. Но они вполне способны поднять такой шум, что иные люди, одурев от него, могут и затеять недоброе.

К тому же, у Архарова было свое понимание справедливости – отнюдь не такое, как у Шварца, навещавшего Салтичиху, более узкое – и, в отличие от Шварцева понимания, не подпираемое высокоумными рассуждениями.

Архаров получил свою должность благодаря графу, а ныне – князю Орлову. Хотя Григорий Орлов уже не был признанным фаворитом, однако братья сохранили немалое влияние, особенно – умница Алехан, кстати говоря, из всех Орловых именно он был любимцем Москвы. И Волконский тоже должностью московского градоначальника был обязан Григорию Орлову.

Они вдвоем, Волконский и Архаров, неплохо с этим городом управлялись – вон, и Варварка вся уж в фонарях, и переулки. Было бы несправедливо, коли из-за очередной петербургской революции Москву лишили бы двух таких рачительных хозяев.

А той чумной осенью и те немногие фонари, что остались целы, не горели...

Архаров не желал вспоминать про особняк во Псковском переулке – но вон же он, особняк Ховриных, стоит, ничего ему не делается! И во втором жилье – окна той самой парадной гостиной, где на возвышении стоят клавикорды, вот только музыки не слышно, нет тут более музыки... но где-то же есть?..

Саша вернулся в карету, обремененный двумя томами, и тогда уж покатали на Пречистенку. На смутное настроение обер-полицмейстера вечный студент не обратил внимания – да и кто когда видел эту тяжелую физиономию с нехорошим прищуром радостной? К ней притерпелись, как притерпелись к тяжелой поступи Архарова, к его внезапной мелкой коротконогой побеге, к неожиданному громкому хохоту, к вспышкам подозрительности. Все то, что при первой встрече смущало новых архаровских знакомцев, его домочадцы и буйный гарнизон Рязанского подворья за два года научились в упор не видеть.

Два дня спустя Волконский получил из Санкт-Петербурга, среди важных бумаг, нечто, прилагаемое к тревожному сообщению из-под Оренбурга в качестве курьеза – причем указывалось, что сие – не оригинал, но верный список с сохранением всех нелепиц оригинала. Он прочитал курьез и послал его с человеком в полицейскую контору, приложив краткую записку. Архарову следовало тоже знать про сей краткий, но сильнодействующий документ.

Архаров же как раз был в кабинете, беседовал со Шварцем. Туда призвали Устину, Абросимова, Тимофея, а Демка с Федькой проскочили без приглашения.

– Читай, – велел Устину Архаров, дав почему-то сперва курьез.

И тот забубнил нараспев и довольно внятно – за невнятицу Архаров однажды крепко его выругал и посулил батогов.

– Самодержавного императора, нашего великого государя Петра Федоровича всероссийского: и прочая, и прочая, и прочая... – прочитал Устин и недоуменно поглядел на обер-полицмейстера.

– Читай, читай!

– «Во имянное мое указе изображено яицкому войску: как вы, други мои, прежним царям служили до капли своей до крови, дяды и оцы ваши»...

Устин замолчал.

– Ты чего это? – спросил Архаров.

– Так помер же великий государь...

– Полагаешь, послание – с того света? Не бойся, вполне с этого, – утешил Архаров.

– И ошибок полно, в словах букв недостает...

– Читай, не рассуждай!

– «... так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю императору Петру Федоровичу, – тщательно выговаривая ошибки, прочитал Устин. – Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей ваших. Будити мною, великим государям, жалованы: казаки и калмыки и татары. И каторые мне, государю императорскому величеству Петру Федоровичу, винныя были, и я, государь Петр Федорович, во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершин и до уся, и землею, и травами, и денежным жалованьям, и свинцом, и порахам, и хлебным правиянтам. Я, велики государь император, жалую вас Петр Федорович...»

– Все, что ли? – спросил Архаров.

– Писано в тысяча семьсот семьдесят третьего году сентября семнадцатого числа, – сказал Устин.

– Экая филькина грамота, – заметил Демка. – Рекою жалует, а которой – не сказал. Этак и я кого хошь болотом пожалую.

Архаров усмехнулся, что было понято подчиненными как разрешение обсуждать филькину грамоту.

– Это доподлинный манифест, – сказал Шварц.

– Ты почему знаешь?

– Ваша милость, нарочно такого не наваляешь, – вставил Тимофей. – От всей дури писано!

– Совершенно с тобой согласен, – подтвердил Шварц. – Такое произведение мог извлять только доморощенный гений, не обремененный науками. И не имеющий при себе хотя бы одного доброго советчика.

– Так-то так, но крестьяне у нас тоже не невтоны и не архимеды, – блеснул случайно застрявшими в голове именами Архаров. – Они грамотно написанного манифеста, поди, и не поймут, а такое безобразия – как раз им по зубам.

– Они, стыд сказать, и в церкви половину кондаков и ирмосов не разумеют, куда уж манифест. Манифесты-то редко бывают, а в церковь каждое воскресенье ходят, – подтвердил Устин. – У нас было – батюшка раз прислушался: что-то не то на клиросе поют. После службы подошел, спрашивает мужиков: вы, чада, повторите-ка внятно, чего пели. Ну и вышло – клирошанам петь «крест начертал Моисей», а они выводят «влез на чердак Моисей».

Архаровцы засмеялись.

– Как им понятнее, так и пели. Семнадцатого сентября, Устин? Месяц, стало быть, исполнился сему манифесту. Теперь – что его сиятельство прислал, – Архаров передал Устину записку.

– «Николай Петрович, по последним сведениями, сей злодей, заняв некоторые малые крепости, движется к Оренбургу, имея взять его в осаду, – прочитал Устин. – Извольте вечером быть у меня».

– Оренбург? – шепотом переспросил Тимофей. – Так для того ж армия, поди, надобна?

– Изволю, – буркнул Архаров. – Такие вот филькины грамоты. Бунт, братцы, и нешуточный.

– Оренбург, ваша милость, далеко, – сказал Демка. – У меня там крестный служил, я знаю.

– Ближе, нежели ты полагаешь...

Сказав это, Архаров взглянул на Шварца – и убедился, что немец уже ждал его взгляда.

Как тогда с Волконским, так и сейчас со Шварцем они подумали об одном: Москва внутренне всегда готова к бунту, а тут еще и повод самый что ни на есть благородный – возвращение государя, коему по закону принадлежит престол.

– Что скажешь, Карл Иванович? – спросил Архаров.

– Мы ныне на пороховой бочке восседаем, – подумав, отвечал немец. – Но, как невозможно съесть жареного поросенка, разом затолкав его в рот, а лишь разрезая на приличные куски, так и не следует видеть в наших здешних возможных пособниках самозванцу некий сплоченный отряд, а разделить их как бы на роды войск, и с каждым управляться особо.

– Ну, давай, дели!

Немец ничего не ответил.

– А ну, кыш все отсюда, – догадавшись, сказал Архаров.

Оставшись вдвоем со Шварцем, велел ему садиться и, упершись локтями в столешницу, изготовился слушать.

– Сие дело о самозванце имеет некое сходство с предыдущим. Но там был у нас французский след, – намекая на шулерскую шайку, сказал Шварц, – а теперь, сударь мой, будет немецкий.

– Твой, что ли? – неловко пошутил Архаров.

– Нет, ибо я себя в обиженных не числю, – преспокойно отвечал Шварц. – Я служу, получаю жалование, службой своей доволен. И я при том не полагаю, будто мне за мою немецкую фамилию должны ежемесячно наградные выдавать.

– А есть кто полагает?

Шварц покивал.

– При покойном государе Петре Федоровиче немцы были в чести. Он по-немецки любил разговаривать и прусские порядки уважал. До казусов доходило. Не помню, в котором году ко двору взяли молодую немку, принцессу Курляндскую. С ней тоже история была – она ведь дочка господина фон Бирона, который, между нами говоря, никакой не дворянин, а чуть ли не из конюхов. Я имею в виду фаворита покойной государыни Анны Иоанновны, – видя, что начальство еще не поняло, о ком речь, аккуратненько и деликатненько, словно бы тех Биронов в России считали сотнями, заметил Шварц.

– Помню, слыхивал.

Архаров не солгал – мудрено было бы жить в Петербурге и не знать имени Бирона. Только подробности, разумеется, в его голове не зацепились и не удержались, потому что были ему без надобности. Архаров, как многие, втайне полагал, что история человечества начинается с года, когда он сам себя осознал мыслящим существом. А все прочее то ли было, то ли нет – одному Богу ведомо, и все о том врут разное.

– Бирона, когда государыня Анна Иоанновна помереть изволили, тут же в Сибирь сослали, потом вернули и определили ему жительство в Ярославль. А дочери его было на ту пору лет двадцать пять, и жениха все не находилось. С собой же она была горбата и неимоверно хитра. Потому сбежала из дому и оказалась в Петербурге. И первое, что сделала, – приняла православие. Покойная государыня Елизавета Петровна была сим поступком весьма тронута, взяла принцессу ко двору. Ее так и продолжали звать принцессой Курляндской, хотя батюшка уже сего герцогства лишился. А теперь вообразите себе, сударь, существо ростом вам по пояс, злобное и зловредное, но умеющее втереться в доверие и вызвать жалость.

– Вообразил, – Архаров поежился, потому что вспомнил неопрятную карлицу, замеченную в одном из старых московских домов, в свите кого-то из барынь.

– И этим уродцем не на шутку увлекся покойный государь Петр Федорович.

– Как?!

– Одному Богу ведомо, – Шварц возвел глаза к потолку. – Девица имела в глазах покойника, тогда еще великого князя, одно неоспоримое достоинство – она была немецкая принцесса. Это придавало ей прелесть в его глазах. Между собой они говорили по-немецки, и уже тем он был счастлив.

– Надо же, с горбуньей...

– А он, сударь мой, слыша любимую речь, не видел того горба и не замечал гнусного нрава. Именно потому вокруг него собралось довольно много тех, кто, кроме немецкой речи, ничем иным похвалиться не мог. Когда же на престол взошла ныне царствующая государыня, она, коли изволите вспомнить, очень и очень немногих преследовала за преданность покойному супругу. Все из его окружения, кто имел хоть сколько-то дарований и способностей к службе, были употреблены в дело. А вот запойным псарям и конюхам, да еще камердинерам, с коими устраивались попойки, пришлось лишиться мест. А теперь вообразите...

Шварц задумался.

– Вообразил, – сказал Архаров. – Эти люди недорого возьмут, чтобы в любом самозванце признать покойного государя. Из чистой вредности. Но с чего ты, черная душа, взял, будто они все собрались в Москве?

– Все, вестимо, не собрались. Но кое-кого встречал. И есть у меня подозрение, что по меньшей мере один человек из Петербурга выехал в Москву, самозванцу навстречу.

- Кто таков? – тут же сурово спросил Архаров.
- Один из моих служащих на улице Брокдорфа повстречал.
- Брокдорфа я помню... – Архаров тут же помрачнел. – Голштинiec, камергер на час...

Его тут только недоставало.

- И я так полагаю, – весомо сказал Шварц.

На сей раз долгих историй не понадобилось. Архаров и без них знал, что голштинiec может натворить бед.

Брокдорф объявился в Санкт-Петербурге вскоре после того, как родился царевич Павел Петрович и еще не завершились празднества, устроенные по этому поводу. Это не было его первой попыткой завоевать столицу – однажды этого голштинского дворянина просто-напросто прогнали с российской границы, причем озаботились этим приближенные великого князя Брюммер и Бергхольц. Еще один интриган при малом дворе, как называли двор великих князя и княгини, им попросту не был нужен.

Голштинiec все же умудрился проскользнуть под видом торговца стеклом, был принят великим князем, готовым облобызывать любого дурака, лишь бы из любезной Голштинии, и нашел ход к графу Петру Шувалову, причем ход хитрый – познакомился со сводником, который устроил сожительство между графом и некой девицей Рейфенштейн. У трех сестриц Рейфенштейн он однажды повстречал графа и с его помощью попытался исполнить при дворе незамысловатый курбет – поссорить великого князя с великой княгиней. Не удалось, и тогда Брокдорф решил использовать влияние Шувалова для иной цели – чтобы выпросить у государыни Елизаветы немалую сумму денег для великого князя. В надежде на эти обещанные Брокдорфом деньги Петр Федорович, опять же по его совету, выписал себе из Голштинии целый взвод солдат. Обнаружилось это, когда голштинцы прибыли морем в Кронштадт, а оттуда – в Ораниенбаум. Великий князь на радостях стал открыто носить голштинский мундир, что сильно уязвило преображенцев – ведь он числился подполковником Преображенского полка. Архаров был привезен в Петербург и определен в полк вскоре после тех событий и невольно запомнил слухи и толки, связанные с голштинцами.

– Это предателей в Россию привезли, – таково было общее армейское и гвардейское мнение.

Великий князь, решительно ни с чьим мнением не считаясь, поселился в лагере со своими голштинцами и был счастлив. В конце концов, осенью их отправили обратно. А Брокдорфа так и продолжали звать генералом – в память о тех маневрах.

Немудрено, что «генерал» запомнился бдительному Шварцу тем, что сумел устроить доставку в Россию целого вооруженного отряда и потом немало им занимался, угождая великому князю.

- И чем же потом сей голштинiec занимался? – спросил Архаров.
- Почти тем же самым, сударь мой. В солдатиков играл.

Осенью и зимой, когда лагерная жизнь и маневры поневоле прекратились, главной забавой великого князя стали игрушечные солдатики из дерева, свинца, воска и крахмала. Он устроил себе для них особливую комнату, где велел поставить длинные и узкие столы. На этих столах разыгрывались целые баталии, а также устраивались парады и ежедневно проводилась смена караулов. Великий князь присутствовал на парадах в мундире, в сапогах со шпорами, с офицерским значком и шарфом, того же требуя и от своей свиты. Брокдорф угождал ему еще и тем, что прилюдно называл великую княгиню Екатерину змеей. За что и поплатился – при первой возможности Екатерина, попав в милость к императрице Елизавете, добила его удаления от двора.

Также весь двор знал, что Брокдорф был доносчиком и едва не подвел под топор графа Алексея Петровича Бестужева. Обвинение было нешуточное – государственная измена, кончилось дело ссылкой, из коей опытного дипломата вернула уже государыня Екатерина.

Более Шварц об этом интригане и авантюристе не знал ничего, а после шелковой революции и вовсе не имел о нем сведений. Однако полагал, что голштинiec остался в России, где успел завести себе приятелей. Да и не до Брокдорфа ему было – иных забот хватало.

Знаменитые и загадочные кнutoбойцы Шварца за пределами Лубянки были мало кому известны. На улицах их не узнавали. Шварц очень заботился о том, чтобы они в свободное от службы время жили достойно, и это вознаграждалось – никто из служителей нижнего подвала не боялся подойти к нему, обратиться с вопросом, казалось бы, отношения к их ремеслу не имеющим. Так и вышло, что ему рассказали о появлении человека, сильно похожего на Брокдорфа, рассказал же некий Кондратий Барыгин, которого Шварц самолично вывез из Петербурга, когда был переведен в московскую полицию.

– Надо разобраться, – решил Архаров. – Твой человек знает сего голштинца в лицо. Пусть побегает там, где его случайно встретил, авось вдругорядь повезет.

– Да и не он один. В Москве найдутся еще знакомцы, кои могли бы опознать Брокдорфа, – сказал Шварц. – Из тех, что удрали сюда от греха подальше в шестьдесят втором.

– Им веры нет.

– А может, и есть. Одно дело – покойного государя оплакивать, иное – признать за государя оренбургского самозванца. Для того надобно...

– Что надобно?

– Либо дураком быть, способным искренне уверовать, будто государь Петр Федорович уцелел и одиннадцать лет в башкирских степях скитался, либо бешеным интриганом, вздумавшим признать самозванца и через то получить от него свою выгоду. И, поверьте мне, сударь мой, еще неизвестно, какой род врага хуже...

– Ох, мать честная, Богородица лесная... – пробормотал Архаров. – Голштинцы – это, стало быть, первый кус поросенка. Второй кус – боярство московское! То-то будет злорадства!

– Будет пресловутый кукиш в кармане. Сии господа более осторожны, нежели можно судить по их смелым объявлениям. Ибо сим господам есть что терять. А прямого бунтаря, сударь, не угодно ли? – спросил Шварц. – В бытность государыни Елизаветы в Москве такое дело вышло. У нас тут стоял Бутырский полк, а в нем служил поручиком господил Батуриин, именем – Асаф... Не задумывайтесь, Николай Петрович, в святцах такого имени нет. Сам проверял.

Архаров усмехнулся – подчиненный накрепко запомнил его блажь и деловито ей соответствовал.

– Нехристя бы поручиком не сделали, – заметил он.

– Кто ж говорит, что нехристь? Я полагаю, он был из армян, а они тоже крещеные, только на свой лад. Его считали большим негодяем и при том человеком решительным. Так вышло, что государыня Елизавета Петровна, прибыв в Москву, взяла с собой наследника Петра Федоровича. И он, Батуриин, через охотников, что ведали сворой наследника, исхитрился ему передать, что якобы предан ему и со своим полком вместе. У того, прости Господи его душу грешную, ума всегда не доставало – он с Батуриным заигрывать стал. Тот как-то его подстерег на охоте и бухнулся в ноги. И поклялся не признавать другого государя, кроме Петра Федоровича. И грозился при том все тут же исполнить, что ему великий князь прикажет. Тут наследник наконец-то до полусмерти перепугался, пришпорил коня и ускакал, оставив Батурина на коленках в лесу. Но у нас в Тайной канцелярии тоже молодцы служили бдительные – несколько дней спустя Батурина повязали и привезли в Преображенское. Тут он, будучи пытан, разговорился – и государыню Елизавету Петровну убить замыслил, и дворец поджечь, и в суматохе великого князя Петра Федоровича на престол возвести.

– Лихо он это затеял... На престол – в суматохе...

– А чего ж вы желали бы от армейского поручика? Дали ему пожизненное заключение в Шлиссельбурге, пытался бежать. Тогда сослали навеки в Камчатку. Такие вот у нас в армии буйные головы вызывают.

– Второй кус – обиженные поручики. Третий?

– Фабричные, поди, еще не позабыли, как их за хождение в Донской монастырь драли...

Архаров кивнул. Трех человек, кои нанесли первые удары покойному митрополиту Амвросию, выявили и повесили в том самом месте, где совершилось убийство. Еще шестьдесят, среди которых были даже дворяне, сдуру замешавшиеся в буйную толпу, пороли кнутом и, вырезав ноздри, отправили в Рогервик, на каторгу. При розыске явилось, что в толпе было много мальчишек. Этых высекли розгами и отпустили.

– Четвертый?

Шварц призадумался.

– Что ваша милость слыхала о староверах?

– Да ничего, – честно признался Архаров. – На что они мне? Вот разве кладбища...

После чумы пришлось и этой докукой заниматься. Во время поветрия всех хоронили за московскими заставами – и князь Волконский решил, что так тому быть и впредь. Новорожденные кладбища – Ваганьковское, Дорогомиловское, Даниловское и прочие, – были узаконены, а хоронить в самой Москве, при церквях и монастырях, – запрещено, кроме знатных персон, да и то – за пределами Белого города. Таким образом князь еще и избавил московские улицы от похоронных процессий.

Но когда он этим занимался к нему обратились старообрядцы и сумели получить дозволение устроить свои два кладбища – Рогожское и Преображенское. А поскольку староверы сидели тихо, то это было чуть ли не единственным, что знал о них Архаров.

Шварц кивнул, соглашаясь – и то, на кой обер-полицмейстеру законопослушные жители Москвы. Хотя законопослушные – до поры.

– Врать не хочу и на невинных людей наговаривать, а сдается, что в этом деле и староверы у нас объявятся. Тоже – издавна обиженные и могут поддержать того, кто им посулит Москву. Им ведь тут жить не велено, а селятся на окраинах чуть ли не тайком. А они люди работающие, коли промышляют торговлей – так имеют барыши, им вся Москва нужна. К тому же, в тех краях, где подвизается самозванец, полно казаков-раскольников. Может статься, у тех с нашими связь налажена, на манер почты.

– Пятый кус поросенка?

– Пока станет с нас, сударь, и четырех. Этими дал бы Господь не подавиться...

* * *

Устин отпросился у старика Дементьева и быстро шел по Лубянке к Сретенке. Он понял наконец, что надобно сделать ради Дунькина спасения. Эта радостная мысль затмила все неприятные, и одно лишь огорчало Устина: как же он раньше не догадался-то?

А неприятного хватало. Из Оренбурга приходили дурные вести – самозванец (уже делалось известно, что подлинное его имя – Емелька Пугачев) держал город в осаде и пытался штурмовать. А зима там выдалась ранняя – к концу октября выпало столько снега и так примораживало, что установился санный путь. Бунтовщики обстреливали Оренбург из пушек, в городе начались пожары, осажденные голодали – у них отобрали муку и крупы для ежедневной справедливой раздачи провианта. Справедливости не получилось – чиновники, памятуя пословицу «кому – война, а кому – мать родна», тут же наладили спекуляцию съестным. Сгорело запасенное на зиму сено, коровы передохли, конина считалась лакомством.

Усмирить бунтовщиков были посланы регулярные воинские части. Но под деревней Юзеевой бунтовщики нанесли поражение отряду генерал-майора Кара, взяли в плен гренадерскую роту, а под самым Оренбургом заманили в засаду отряд полковника Чернышова. И к ним присоединялись народы, коих Устиново воображение выводило из библейского Вавилона с его смешением языков: киргиз-кайсаки, башкиры, поволжские татары, чуваша, мордвина...

Устин обо всем этом век бы не знал, кабы не служба. Архаров со Шварцем додумались употребить в дело десятских. Это были обыватели, которые, получая наряд от полиции и литерату на кафтан, днем следили за порядком на улицах, а ночью – чтобы население не шастало без фонарей. Им было велено приносить на Лубянку все слухи, коими полнилась Москва, и сведения о подозрительных людишках. Устину же досталось вместе с прочими канцеляристами записать немало ахинеи и околесицы, простодушного вранья и глубоко продуманной клеветы. Но в результате он знал довольно много правды об успехах бунтовщиков.

Сейчас, однако, эта правда была ему ни к чему. Он и думать о ней не желал, а тем более – замечать, что московские улицы сделались несколько иными, больше грубых слов звучало там, где собирались оборванцы, ощущалось тревожное ожидание странных и страшных событий, а в спину тем, кто, был хорошо одет, летели угрозы. Устин шел просить милости Божьей и настраивал себя на благостный молитвенный лад. Он даже не ругал себя за беспамятство, а благодарил Господа за то, что дал вспомнить вернейшее средство от Дунькиных проказ. Сейчас наиглавнейшим было это – а не былые грехи и не служебные обязанности.

Устин Петров в душе себя архаровцем не считал.

Во-первых, не колобродил, не задирал девкам подолов, не бил посуду в кабаках, не ввязывался в драки. Во-вторых, хотел со временем сподобиться духовного звания. Потому себя берег и соблюдал. А то, что он волей графа Орлова угодил под начало к полковнику Архарову, считал нелегким, но и не чересчур изнурительным испытанием.

Впрочем, должность, в которую его определили в полицейской конторе, ему нравилась и особо сложной не казалась. Он был приучен к соблюдению определенного порядка в бумажных делах еще в пору околицерковной своей юности, помогая батюшка вести брачные и крестильные ведомости – что делалось в каждом храме. Кроме того, отец Киприан, видя его усердие, приставил его и к исповедальным спискам. Эти велись особенно строго – чтобы выявлять уклоняющихся от исповеди и причастия.

После многих тягот и испытаний, после бегства в леса и самосожжений во имя двоеперстного сложения, раскольники-староверы притихли и несколько уgomонились. Немало потомков тех отчаянных бунтарей вернулось в старую столицу. За ними нужен был присмотр – чтобы не сманивали в свою веру. Опять же, появились секты – всяких беглый монахи или поп-расстрига почитал за должное по-своему понять Евангелие и сбить вокруг себя стайку единомышленников. До блажи доходило – иным молитву заменяли пляски, доводящие до умоисступления. Все эти люди, по форме состоя в том или ином приходе, от православной обрядности потихоньку уклонялись – и всякий священник обязан был о них знать и их отечески увещевать.

Почему-то в исповедальных списках указывалось еще и ремесло исповедуемого. Может, чтобы не путать тезок, – подлинной цели Устин не знал, но коли велено – писал, мог и еще чего по своему разумению добавить. Шварц обо всем об этом его досконально расспросил, прежде чем допустить присутствие бывшего дьячка на Лубянке. И те давние навыки не разгодились Устину даже когда просто перебелил бумаги. В иной «явочной» ни складу, ни ладу – а он где слово добавит, где слова местами переставит – получалось почти вразумительно. Однако сам он считал свое занятие временным и ждал лишь возможности убраться с Рязанского подворья. А она все никак не подворачивалась. И он порой болезненно ощущал свое состояние – состояние человека, застрявшего в ловушке и не имеющего сил вырваться.

Но сейчас душа уразумела свой путь и понеслась, и понеслась!..

Если по Лубянке бежать к Сретенским воротам, то как раз возле них по левую руку будет Сретенский монастырь, сам по себе не слишком старый, зато при нем есть храм Марии Египетской, вот тот по древности – третий на Москве, древнее – только Спас на Бору в Кремле и Всехсвятский на Кулишках. Храм – одноглавый, небольшой, с гладкими стенами без украшений, глубоко вросший в землю, а рядом – Сретенский монастырь с большим пятиглавым каменным собором, с высокой надвратной колокольней, с каменными кельями. Но именно малому храму еще при царе Петре был прислан дар от иерусалимского патриарха Досифея, частица мощей преподобной Марии Египетской – плюсна левой ноги, и хранится там в серебряном ковчеге.

Вот где преклонить колени и со слезами молить, чтобы преподобная упросила Господа избавить Дуньку от блудных вожделений! Вот где – а не шастать по храмам, небесные покровители коих отвечают совсем за иные стороны человеческого бытия!

Приведя себя в должный восторг, Устин подошел к храму Марии Египетской, заранее зажав в горсти несколько полущек – на милостыню. И обмер, услышав слаженные протяжные голоса. Трое слепцов пели на паперти, а народ слушал, иные – уже прослезившись: слепцы пели духовный стих, пели так, что за душу брало. Устин прислушался – это был пересказанный попростому кусочек из жития преподобной Марии Египетской:

*Пошел старец молиться в лес,
Нашел старец молящую,
Молящую, трудящую,
На камени стоящую.
Власы у нея – дубова кора,
Лик у нея, аки котлино дно.*

Устин сразу же понял, что именно такова была святая, некогда гордившаяся своей телесной красотой, после сорокасемилетнего отшельничества, и ужаснулся, и умилился – ему самому не дано было так служить Богу, его постоянно допекали мирские заботы. И он искал, кому бы из людей послужить со всем пылом души, чтобы через это к Богу приблизиться, и нашел было Митеньку – но Господь прибрал Митеньку, как бы говоря этим Устину: ты не ищи служить наичистой душе, ты вот вынь из грязи и омой в слезах грешную душу.

Вот и послал эту самую грешную душу, к которой даже непонятно, как подступиться!

Подошел и встал рядом низенький инок – средних лет, с узкой седеющей бородкой, розовощекий, Устин невольно посмотрел на него – инок приветно улыбнулся.

– Ты не Всехсвятского ли храма дьячок будешь? – спросил тихонько.

Устину было стыдно признаться этому благостному человеку, что служит в полиции. И мысленно он возблагодарил Господа за то, что перемазал вчера мундир, опрокинув на себя плюшку с конопляным маслом. Квартирная хозяйка обещалась за день так отчистить пятна, что и следа не останется, и Устин поплелся на Лубянку в тулупчике поверх старого полукафтаны.

– Я тебя признал, а ты меня – нет, – сказал инок. – Я тебя запомнил, когда все на поклон к надвратному образу ходили, на всемирную свечу деньги собирали. Я – Аффоний, а тебя как звать?

– Устином, отче...

– Сие значит – от праведного корени. А мне имя как бы в насмешку дадено, означает – «изобилие», а обитель у нас небогатая, живем скудно. Всякой милостыньке рады.

– Я потом в храм помолиться пойду, положу в кружку, – пообещал Устин.

– Спаси Господи...

Слепцы меж тем, описав испуг старца и успокоительные слова отшельницы, перевели дух и, возвысив голоса, возгласили главное:

*«Я тридцать лет во пустыне живу,
Я тридцать лет на камени стою —
Замоляю грехи великие,
Замоляю грехи великоблудные».
А и тут жена просветилась,
Видом ангельским старицу открылася,
И велела она вспомнить ее,
Величати Марией Египетской.*

Устин, потрясенный тем, как встретил его храм, как встретила сама преподобная, стоял, тяжело дыша и твердо зная: свершилось чудо. Духовный стих был неким тайным знаком, что его молитва будет услышана. И тут же его осенило – он просто обязан был немедленно бежать на Ильинку, отыскать Дуньку и поведать ей про храм Марии Египетской.

Дунька же в этот миг, зная не зная и ведать не ведая про Устиновы устремления, кинула последний взгляд в зеркало и поспешила вниз, к экипажу. Хотя она жила на Ильинке, но пешком по ильинским модным лавкам не ходила, хоть три сажени – да проехать, задрать нос! Не в карете – так на саночках.

Ей в лавках, собственно, ничего не требовалось, кроме приятного общества. Марфа была умна, превосходно с Дунькой ладила, да только Дуньке хотелось компании ровесниц, молодых щеголих и вертопрашек, беседы о модных платьях и вещичках, об увеселениях, о галантных кавалерах и об амурных шашнях.

Она села в санки, запряженные одной лошадкой, оправила юбки, сунула руки в соболью маньку, висевшую на шелковом шнуре, подсказала кучеру Фаддею, как ловчее укутать ей ноги тяжелой медвежьей полостью и велела ехать по Ильинке неторопливо, чтобы видеть, кто входит в лавки и выходит из лавок.

Это имело еще и тайный смысл – Дунька сильно любопытствовала насчет лавки мадам Фонтанж. Упрямо не желая посещать заведение, приобретенное на архаровские деньги треклятой француженкой, она все же держала уши на макушке и запоминала на всякий случай, кто из знакомцев и знакомиц покупает у мадам Фонтанж.

Напротив была такая же лавка, принадлежавшая мадам Лелуар. Вот тут Дунька и велела Фаддею остановиться. Кучер помог ей выбраться из санок, получил приказание – встать неподалеку, в Никольском переулке, откуда была бы видна дверь Лелуарши, – и Дунька ворвалась в милый сердцу мирок, неся на губах приятную улыбку – мало ли кто тут собрался уже и развлекается разглядыванием модных товаров?

Но улыбка окаменела на Дунькиных устах, зато глаза широко распахнулись.

В креслах у консоли, на которой были разложены безделушки, сидела дама, очень даже ей знакомая.

Это была Маланья Григорьевна Тарантеева.

Нельзя сказать, что они расстались врагинями. Точнее говоря, они вообще никак не расстались. Когда господин Григорьев обнаружил шашни своей любовницы-актерки и вздумал предпочесть ей ее молоденькую и шуструю горничную, он так исхитрился все сие проделать, что Дунька при шумном объяснении отсутствовала и вообще более в квартиру, снятую для Тарантеевой, не возвращалась, – новоявленный покровитель отправил ее на другую квартиру, потом же поселил в доме на Ильинке. И получалось, что они даже не ссорились, хотя Маланья Григорьевна прекрасно знала, на кого ее променяли.

Дунька понятия не имела, куда подевалась бывшая хозяйка, когда подаренные ей на прощание Григорьевым деньги кончились. Марфа взялась было выяснить – и рассказала, что с квартиры актерка съехала, нового местожительства хозяевам не сообщила. В воронцовском театре она более не появлялась.

Московские театры после чумы так до сих пор и не опомнились. «Российский театр», что на Красных прудах, еще и раньше лихорадило – вся Москва потешалась над склокой главнокомандующего графа Салтыкова и драматурга Сумарокова. Зарождались новые труппы, но были они еще слабы, давали представления в частных домах, да и пьесы брали невесть какие – из простой жизни, а госпожа Тарантеева мнила себя трагической героиней. Иначе, как благородными александрийскими виршами, она на подмостках разговаривать не желала.

Оставалось предположить, что тут же сыскался иной богатый покровитель и куда-то ее увез, хотя сие и было сомнительно – госпожа Тарантеева уже не блистала той юной красотой, за которую господа готовы платить большие деньги.

Однако особа, сидевшая сейчас у Лелуарши, была одета в бархатную шубку на куньем, кажется, меху, и рука, застывшая над консолью, несла на себе два красивых перстня и браслет с разноцветными камнями.

– Фаншета! – воскликнула Маланья Григорьевна. – Да ты ли это, голубушка?

Дунька поразила искренности в голосе актрисы.

– Я, сударыня, – отвечала она сдержанно.

– Да не дичись! Нешто я не понимаю? Сама виновата, – сказала госпожа Тарантеева. – Давай, Фаншета, так – кто старое помянет, тому глаз вон.

«А кто старое забудет – тому оба вон», – подумала Дунька, но вслух завершать поговорку не стала.

– Сказывали, наш-то престарелый вертопрах тебя богато содержит, – продолжала актриса. – Будь умна, моих ошибок не повторяй – он тебя и замуж выдаст, и приданым хорошим обеспечит. Тебе уж двадцать, поди? Пора, пора о замужестве побеспокоиться. Я в твои годы уже давно замужем была.

Дунька внутренне усмехнулась – милая дамская беседа и должна была быть исполнена таких нежных шпилек.

– Да на примете никого нет, – сказала она актрисе. – Живу я тихо, только с теми, кого Гаврила Павлович в дом приглашает, знаюсь. А он женихов в гости не зовет, только господ... совсем уж трухлявых!

Маланья Григорьевна рассмеялась.

– Узнаю голубчика! Ну так я о тебе позабочусь!

Дунька насторожилась – вот уж без чего-чего, а без заботы госпожи Тарантеевой она превосходно бы обошлась. И малое дитя поняло бы, к чему клонит актриса: подsunуть удачливой сопернице молодого любителя да и рассорить ее с господином Захаровым.

«А шиш тебе», – подумала попросту Дунька, вспомнив в ту же минуту того, кто никак не мог быть назван ни молодым любителем, ни галантным махателем, ни, тем более, возможным женихом. Вспомнила того, кого Марфа как шутя прозвала ядреным кавалером, так это прозвище в Дунькиной голове и угнездилось, намертво прилипнув к московскому обер-полицейскому.

– Давай, Фаншета, друг дружки не забывать, – продолжала актриса. – Ты с моей же легкой руки в свет вышла и делаешь удачный карьер. Ты, может, полагаешь, что я вздорная сумбурщица? Нет, Фаншета, я устала от суеты и ищу искренних привязанностей...

Дунька, достойная ученица Марфы, тут же перевела эти светские речи на простой язык: госпожа Тарантеева набивалась в гости, чтобы среди трухлявых господ, навещающих Гаврилу Павловича в его амурном гнездышке, сыскать себе эту самую искреннюю привязанность.

– Да ведь я не своей волей живу, – отвечала Дунька. – Мой-то меня никуда не пускает. Днем еще по лавкам проехаться разве... Полон дом соглядатаев.

– Экая жалость. А что ж ты не спросишь, как я, с кем я?

– И без расспросов видно, раньше у вас такой щегольской шубки не было, да и перстеньки – один другого краше.

– Ничего ты, Фаншета, не разумеешь! – госпожа Тарантеева рассмеялась. – Даст Господь, к весне на Москве новый театр откроется, и я там на первых ролях буду! Пока же мне стали платить жалование и сняли для меня квартиру. И теперь лишь я поняла, что есть искренняя привязанность...

Дунька вспомнила все хитросплетения театральных интриг, в коих актерка чувствовала себя, как рыба в воде, и ужаснулась. С прибавлением еще одного театра количество интриг должно было возрасти втрое, коли не вчетверо.

– Кабы ты не жила бы с господином Захаровым, я бы тебя в наш театр позвала, играть субреток и наперсниц. Я помню, как ты с голоса роли заучивала. И у тебя ведь прелестно получалось! Вот коли бы тебя в театр сманить, я бы уж была спокойна – ты за моей спиной козни строить не станешь.

– Не умею я козни строить, – согласилась Дунька. – Да и на театре играть, поди, тоже не смогу...

– А я тебя научу! – обрадовалась Маланья Григорьевна. – Коли вдуматься, то и невелика наука. А талант у тебя есть, это я сразу заметила.

Дунька задумалась.

Похоже, сейчас актерка не лгала. Сколько Дунька помнила, у госпожи Тарантеевой всегда главной заботой было не выучить ролю, а разобраться с интриганками-соперницами.

– Так ты поразмысли, душа моя, – сказала актерка. – Сейчас ты во всем от Гаврилы Павловича зависима, а станешь сама себе хозяйка, и кавалеры к ногам все поголовно рухнут, наилучшего изберешь! Мне бы твои годы – да я бы теперь и Москву вверх дном поставила, и в Петербург ускакала, там бы наиглавнейшей стала!

Соблазн, соблазн был в этих речах, и Дунька прекрасно понимала, что перед ней – опасное искушение. Но ничего не могла с собой поделать – душа вдруг потребовала свободы. А на что сию свободу употребить – Дунька знала сразу.

Чтобы вся Москва об одной лишь Дуньке твердила, да чтобы дошла о ее успехах весть до обер-полицмейстера, да чтобы он знал – никого краше и талантливей Дуньки в городе нет, ни среди русских девок, ни среди немок, ни среди француженок! Та Тереза Фонтанж, Марфа сказывала, раньше учила в богатых домах детей клавикордной игре, так, может, тем ядреного кавалера пленила? Может, ему просто красивого личика и статного молодого тела мало, а непременно впридачу целый концерт подавай? Ну что же, будет ему концерт.

Но сразу она госпожа Тарантеевой своего решения не сообщила – настолько у нее ума хватило. Дунька лишь спросила о перстеньках, полагая, что хвастливая актерка не удержится и доложит, чьи подарки. Но тут-то и вышел афронт – почему-то Маланья Григорьевна проявила скрытность. Очевидно, беспокоилась о сожителе – не пошли бы лишние слухи. Другая диковина явилась, когда зашла речь о ее новом местожительстве. Неведомый покровитель поселил актерку чуть ли не в Лефортове. Это Дуньку сперва удивило было – она не понимала, как вообще в Москве можно жить за пределами Китай-города, уже и Замоскворечье было для нее недостойной внимания окраиной. Как всякая разумная женщина, она полагала, что селиться следует поближе к торговым рядам – там, стоит выйти из дому, и знакомцев увидишь, и новости узнаешь. А окраина... да хоть дворец там поставь, все одно – весной и осенью будешь в том дворце заперт, как в тюрьме, да и зимой в гололед – немногим будет лучше. Дунька прекрасно знала, как ездят в гололед, даже коли лошади кованы на шипы, – быстрее пешком добежать!

Но к концу беседы Дунька поняла, что актерка опасности не представляет – сожитель ей, видать, любезен, и потому слишком нужно иметь в своем окружении хоть одну женщину, на которую можно положиться, а Дунькины таланты она испытала, когда та еще служила в горничных.

Сделав для приличия покупку – маленькую прехорошенькую перламутровую мушечницу, а также сговорившись с актеркой увидеться тут же неделю спустя, в это самое время,

Дунька заторопилась – ей сильно хотелось рассказать обо всем Марфе. Госпожа Тарантеева осталась в лавке – видать, кого-то ждала, а Дунька, выйдя на крылечко, помахала рукой Фаддею. Он тут же подъехал.

– Фаддеюшка, езжай-ка в Зарядье и привези Марфу Ивановну, – велела Дунька. – А я до дому уж сама дойду.

– Ги-ись! – негромко предупредил Фаддей прохожих – и санки укатили обратно к Никольскому, пропали за поворотом.

Дунька пошла – сперва неторопливо, потом все быстрее, ножки в изящных башмачках стали мерзнуть. Это ее и раздосадовало, и развеселило. Чем ближе дом – тем легче неслась она, радуясь самой себе – своей ловкости, своей молодости и взглядам встречных кавалеров. А у самых дверей нос к носу столкнулась с человеком, которого сразу и не признала.

– Авдотьюшка, Бог в помощь! – обратился он. – А я к вашей милости с доброй вестью!

– Что еще за добрая весть? – удивилась она приветствию.

– Авдотьюшка, голубушка, пойдем со мной скорее! Тут неподалеку, на Сретенке, во храме...

– Ничего себе неподалеку! – воскликнула Дунька. – Ты, что ли, Устин?

– Я, Авдотьюшка.

– Опять явился мою душу спасать?

– Там, в храме преподобной Марии Египетской, что была прежде блудницей, мощи есть в серебряном ковчежце, я к ним приложился, – быстро заговорил Устин. – Авдотьюшка, светик, пойдем со мной, и ты тоже приложись! Они доподлинно, те мощи, чудотворные! Я стоял на коленях и плакал! Глядишь, и твоя душа...

– Насчет души – сие мне неведомо, а вот ног уже не чую, – сказала Дунька. – Коли хочешь мне проповедь читать, пожалуй, сударь, в дом.

А сама подумала, что даже коли бы сожитель застал Устина в ее спальне, то все равно дурного бы не подумал – уж больно этот полицейский служитель на махателя непохож.

Опять же, вот-вот Фаддей должен был привезти Марфу, так что было кому спасти от восторженных поучений.

Они вошли в сени, и тут же Дунька закричала, призывая горничную Агашку. Агашка прибежала сверху, всплеснула руками, причитая, что барыня-душенька совсем себя не жалеет, тут же кинулась снимать с замерзших ног башмачки.

Устин знал, конечно, что у женщин и девок под юбками и сарафанами ноги бывают. Он видел, как бабы, подоткнув подолы, хозяйничают на огородах. Но то – бабы, а Дунька по природному лукавству употребила прием дамской науки, именуемой «ретруссе», то бишь искусство показать ножку. Она, садясь на табурет, легким движением вздела юбки так, что ножка выглянула, словно прелестный зверек из густой чащи, и тут же спряталась, и снова выглянула, далась в руки Агашке. Устин заворожено глядел за этими маневрами. Он понимал, что видит доподлинный разврат, но ничего не мог с собой поделать.

Прибежала с кухни стряпуха Саввишна, Дуньку разули, растерли ей ступни горячими руками, а Устин все глядел, даже шапку позабыл снять.

– Да ты раздевайся уж, коли пришел, – сказала Саввишна. – Кто таков будешь?

– Да это, Саввишна, тот полицейский служитель, что игровое колесо от топора спасал, помнишь? – сказала Дунька.

Тут у стряпухи вдруг потекли по щекастому лицу слезы, и она опрометью кинулась вон из сеней.

– Все Филимонушку забыть не может, – объяснила Агашка. – Чего-то у них там, видать, втихомолку сладилось, да Бог не судил...

Устин, безмерно стыдясь своего полукафтання – неведомо с чьего плеча, полы обтрепались, пробовал подрезать лохмы ножницами, еще хуже вышло, да еще грудь в чернильных пятнах, – раздеваться не стал, только стянул с головы шапку.

– Что ж ты, молодец? – спросила Агашка и поглядела на хозяйку, словно спрашивая: на кой тебе этакий нескладный детинка?

– Ну, теперь рассказывай, чего хотел, – велела Дунька. – В тепле-то, поди, сподручнее будет.

Устин понял, что дальше сеной его с его поучениями не пустят. Стало быть, следовало в немногих словах еще раз красноречиво объяснить Дуньке, каково ее печальное положение и сколь важно тут же, сию минуту, заново обуваться и спешить к мощам Марии Египетской.

Проповеди читать Устин, понятное дело, не умел – никто его этому не учил. Науку о составлении проповедей, гомилетику, преподают в семинарии, о которой он мог пока только мечтать.

Он перебрал в голове все, что хотел сказать Дуньке, и память подсунула некстати живую картинку – когда он явился спасать ее с целым мешком денег. Тогда вышло некоторое недоразумение, сильно ему помешавшее... Господи, что там было такое?..

– Авдотьюшка, я вспомнил! – в порыве озарения вдруг воскликнул новоявленный проповедник.

– Что ты вспомнил?

– Как звали того преподобного, что блудниц спасал! – радостно сообщил Устин. – Вот те крест, был такой! Отец Виталий Александрийский! Он днем на тяжких промыслах утруждал себя, а вечером заработанное отдавал блудницам – чтобы у них не было более нужды в разврате!

– Дался тебе этот разврат, – огрызнулась Дунька. – Ну, что ты в нем понимать-то можешь?!

А ошеломленная Агашка тихонько попятилась.

– Я тоже ради тебя готов трудиться... Но сперва давай помолимся вместе у мощей преподобной Марии Египетской, чтобы тебе избавиться от блудных вожделений...

Дуньке очень захотелось отвесить Устину полновесную оплеуху. Бывший дьячок так и пер напралом в деле, где необходимо действовать тонкими касаниями перстов. Но вдруг ей пришло на ум кое-что полюбопытнее оплеухи. А может, уже подъезжающая к дому на санках Марфа послала ей мысленную подсказку.

– Стало быть, хочешь мою душеньку спасти? – кротко спросила Дунька.

– Да, – твердо сказал Устин и уставился на нее полными восторга глазами. – Все для тебя сделаю, только уйди от этого развратника! Поселишься в тихом домике, рукодельничать будешь, вышивать, я тебе деньги буду приносить – лишь бы тебе больше не предаваться разврату!

– А потом?

– Что – потом?

– Так мне до смерти и рукодельничать? Замуж-то ты меня хоть отдашь? Жениха путевого сыщешь?

Устин был сильно озадачен такой претензией. В картине, которую он нарисовал в голове, действительно было все, кроме этого безжалостного «потом». И ведь не впервые! Устин и не задумывался, чем они с Митенькой будут заниматься после того, как прогорит и угаснет всемирная свеча. Его мечта спасти Дуньку из похотливых лап Захарова тоже ограничивалась внедрением раскаявшейся грешницы в пресловутый тихий домик.

Дунька, строго глядя, ждала ответа. А его и быть не могло.

– Может, сам на мне женишься? – вдруг спросила она.

Устин громко ахнул. Предлагать такое человеку, который по меньшей мере раз в месяц задумывался, а не бросить ли полицейскую контору и не принять ли постриг! Все смешалось в

бедной Устиновой голове – он понял, что это воистину единственный способ спасти Дунькину душу, и перепугался до полусмерти, и впридачу ощутил-таки восторженное желание жениться!

– Мы повенчаемся... – произнес он дрожащим голосом, – мы поселимся в тихом домике, коли ты сего хочешь...

Тут Дунькины раскосые глазищи вконец смутили его, и он завершил свое диковинное предложение так:

– А жить будем, как брат с сестрой...

Дунька поняла, что эту беседу пора кончать.

– Ну, уговорил, черт языкастый! – воскликнула она, быстро подошла к Устину, двумя руками взяла его за уши и решительно поцеловала в губы. Поцелуй был наглый, дерзкий, понижающий насквозь, возносящий под облака. Устин, не ожидавший нападения, позволил этому поцелую овладеть собой и... и ответил на него... впервые в жизни...

Наконец он опомнился, ужаснулся сам себе и стал вырываться.

Дунька отступила.

– Хорош жених, – укоризненно сказала она. – Дай-ка я чего получше поищу. Не умеешь девку уговаривать – не берись.

С тем и устремилась вверх по лестнице, даже не попрощавшись.

Устин стоял – красный, как рак, утратив всякое соображение. Стыд одолел его – а ведь как ловко все было задумано! И Дунька (в Устиновом воображении, понятно!) должна была обрадоваться возможности покинуть старого развратника! Что же в умопостроениях было не так?

Совсем несчастный, он побрел к дверям, не ведая, что Агашка сзади кажет ему длинный язык. И, не разбирая дороги, на крыльце столкнулся с Марфой, убежденной, что ее, восьми-пудовую, да еще укутанную в преогромную шубу, все должны видеть издали и уступать ей с почтением дорогу.

– Ах ты смуряк охловатый, дубина неотесанная, лягушка ты забодай! – возмутилась едва не упавшая Марфа.

Устин, узнав ее, совсем смутился и кинулся бежать, а Марфа вошла в дом.

Агашка помогла ей раздеться, с немалым трудом встряхнула шубу, чтобы мех в тепле не попортился от сырости, а Марфа, велев подавать самовар с заедками, пошла наверх, к Дуньке. Как раз настали Филипповки, и к столу полагались постные крендельки, маковники и всевозможные лакомства на меду – в возмещение печева на невероятном количестве яиц и коровьего масла, которое издавна любили на Москве.

– Что это ты, душа моя, полицейских служителей приманиваешь? – спросила Марфа с пресерьезной рожей, входя в Дунькину гостиную. – Твои-то узнают – не обрадуются.

Она разом намекала и на Захарова, и на обер-полицмейстера.

Дунька рассмеялась.

– Да это ж Устин, не признала? – спросила она. – Садись, Марфа Ивановна, такое скажу – на ногах не устоишь! Пропажа наша сыскалась!

– Да ну?!

Дунька рассказала про госпожу Тарантееву и ее любезное предложение. Марфа задумалась.

– Говорила я тебе – многого добьешься, коли будешь умна, – молвила она. – Актеркам, которые на первых ролях, в Петербурге вельможи дворцы дарят, экипажи новомодные, сама государыня им бриллиантовые перстеньки шлет. Но тут надобно не промахнуться... кто, говоришь, нашу красаву-то подобрал?..

– Так и не сболтнула, – пожаловалась Дунька. – А по всему судя – довольна. Как будто замуж собралась... Я все ждала – авось сболтнет. Ан нет!

– Хитрости, стало быть, малость нажила. Коли это кто из здешних бояр у себя домашний театр заводит и крепостных реверансам учит – тебе от того толку мало. Разве что твоего сожителя непутем разозлить...

– Нет, Марфа Ивановна, она сказывала – это те давешние интриги продолжаются, когда у государыни денег на театр просили и прожекты ей представляли.

Марфа почесала в затылке.

– Вот что, Дунька. Первым делом ты про эту встречу сожителю расскажи, да насмеши его сильнее. Пусть и ему станет любопытно, в какой такой театр нашу сумбурщицу взяли. И пусть он тебе позволит туда ездить, да и сам у знакомцев поузнает, не затевает ли кто домашней комедии. А Маланье наплетешь так: бегаешь-де к ней от сожителя тайком. И как тебе что покажется неладно – тут же записочку ей шли: сожитель-де разведаль, ругался и оплеух надавал, так что более ты у нее не покажешься.

Дунька вскочила со стула и расцеловала Марфу.

– Учись, пока я жива, – сказала многоопытная сводня. – Я тебе, Дунька, что скажу. Молодая и красивая баба многого добьется – да не всего. Хитрая старуха тоже многого добьется – да не всего. А вот как молодая со старухой объединятся...

И тут обе совершенно некстати подумали об одном и том же человеке.

И тут же обе об этом догадались.

– Экая заноза, – вроде бы и некстати, а на самом деле – вполне к месту проворчала Марфа.

И Дунька, вздохнув, безмолвно с ней согласилась.

* * *

Архаров был сильно недоволен москвичами. Москва заваривала малопривлекательную кашу. Он не верил, что самозванец, которого с легкой руки государыни модно стало звать маркизом Пугачевым, дойдет до первопрестольной, однако чернь нехорошо оживилась, уже начинала в сумеречное время слоняться толпами по улицам, горяча друг дружку неистовыми словами. Десятские во многих местах просто боялись выходить и нести свои обязанности.

Наконец после того, как пьяная орава окружила архаровские сани прямо на Пречистенке, и в помощь отбивавшемуся кнутом Сеньке пришлось сделать два выстрела, Архаров опять перевел свой особняк на военное положение. Там в третьем жилье ночевали испытанные архаровцы, премного довольные таким общежитием. Они были неизбалованы – Тимофею доводилось и в сугробах спать, так что тюфяк на полу представлялся им царским ложем, тем более, что Потапу было велено кормить их без всякой экономии.

Несколько дней спустя Архаров был вызван к князю Волконскому – разбираться с незваным гостем. Записка была так хитро составлена, что и не понять, кто пожаловал. Но разумно расспрошенный архаровцами посыльный рассказал: генерал-майор, прибыл из Казани, по прозванию Василий Алексеевич Кар.

– Мать честная, Богородица лесная! – воскликнул Архаров. – Как же он в Казань-то попал?!

Генерал-майору, сколько Архаров знал расстановку сил, полагалось быть где-то под Оренбургом, а не возвращаться в Казань, откуда он выступил против самозванца, имея под началом около полутора тысяч человек. И тем более – не скакать в Москву, куда его никто не посылал.

Наступил ранний зимний вечер, на Лубянке было тихо, и Архаров стал собираться. Но, когда он уже стоял в шубе, а Клашка эту шубу на нем оправлял сзади и одергивал, в кабинет, постучав, заглянул старик Дементьев.

– Чего, какмышь, скребешься? Заходи, – велел Архаров.

Старый канцелярист вошел и низко поклонился.

– Челом бью вашей милости на неслуха Устинку, – сказал он. – Беда с ним, право, пишет на свой лад. Вот, извольте, гляньте, ваша милость, срамota одна...

Это было неизбывное горе старика Дементьева.

Как многие невысокого полета чиновники, он на старости лет стал сильно заботиться о своем влиянии на ход событий и на служивую молодежь. Всякую мелочь принимал близко к сердцу, особо настаивал на своей незаменимости – словом, проделывал все свойственные его положению дурачества. А главным в его ремесле был разборчивый и красивый почерк. Вот вокруг почерка и развел старик Дементьев неслыханную канитель. Он всех канцеляристов школил, чтобы писали на его лад, с его излюбленными завитками, и наиболее хвалил тех, кто, не пожалев времени, брали его рукописания за образец и, обводя буквы карандашиком, усваивали его манеру.

Устин же имел свой почерк, довольно отличный от дементьевского, и потому не раз и не два сподобился таких вот стариковских жалоб, приносимых Архарову. Он искренне пытался переучиться, но, увлеченный письмом, забывал о своих благих намерениях.

Сказывалось, видимо, и то, что Устин не был потомственным канцеляристом. В этом звании многое значила семейственность. Заботясь о том, чтобы все учреждения имели грамотных работников, правительство запретило детям приказных служащих поступать в иную службу, кроме гражданской, и более того – недавно был принят указ, обязавший канцеляристов самим обучать своих детей грамоте. Немудрено, что в этой среде почерк имел столь великое значение.

Старик протянул две тетради, показал пальцем, точно – разница в почерках на соседних страницах была весьма заметна. Архаров посмотрел на Устиново творчество – да, почерк не дементьевский, так ведь и ошибок, сказывали, у того Устина почитай что не бывает.

– Прости его, дурака, старинушка, – сказал он. – А я сам с ним завтра потолкую.

– То-то, что дурака... – проворчал старик Дементьев. – Наиважнейшие бумаги, а на разный лад у нас писаны, непорядок, срамota... вон, кто ж так «веди» пишет?... и вон еще...

Архаров похлопал его по плечу – сие считалось знаком доверия, равноценным ордену. И пошел из кабинета, убежденный, что недели две-три старый канцелярист будет сидеть спокойно, а потом притащится с очередной жалобой на того же Устина, и судьба обер-полицмейстера сличать почерка в тетрадях до скончания века.

К Волконскому поехали на двух санях – впереди полицейские, сзади сильно обеспокоенный, хотя и не подающий виду, обер-полицмейстер.

Кар был в доме московского градоначальника таким гостем, что одно смущение: и не принять было нельзя, и принимать – гневить государыню. Поскольку генерал-майор, бросив своих солдат, самовольно передал командование другому генерал-майору, Федору Юрьевичу Фрейману, и помчался было через Казань и Москву в Санкт-Петербург, но в Москве узнал, что государыня запретила ему являться в столицу, и отправился к Волконскому за помощью и советом.

Доставили его в таком виде, что из саней – да в постель. Горячку свою он привез из башкирских степей, и доктор Воробьев, за коим сразу послали, диву дался – спятить надобно, чтобы в таком положении из Казани в Москву тащиться. Жар был умопомрачительный, хотя Кар божился, что превосходно все понимает и помнит. Выпускать его из постели Матвей запретил, так что светская жизнь переместилась в спальню гостя.

Архаров был в обществе Волконского и Кара младшим – всего лишь полковник – потому голоса не подавал, а лишь слушал, делая в уме разнообразные заметки. Волконский тоже много не говорил – насоветуешь, а потом и расхлебывай. Зато генерал-майор, опираясь на локоть, изливал свое возмущение, уже почти не беспокоясь, слушают ли, и не нуждаясь в вопросах.

– Учинить над злодеем поиск! Переловить разбойников! – он явно передразнивал не совсем верный русский выговор государыни. – И прекратить сей глупый фарс! Бывали подоб-

ные фарсы, объявлялись самозванцы, да только ни один не исхитрился поставить под ружье пол-России!

Волконский и Архаров переглянулись – Кар, желая оправдать свои неудачи, явственно перегибал палку.

– В какое село ни войду с солдатами – пусто! Жители покинули свои дома и ушли к государю Петру Федоровичу! Я – следом, он – пятится! Сведений о нем – никаких! Пошлешь солдат в разведку – а они прямиком к изменнику являются и про наш марш все рассказывают! Тут я велю Чернышову идти наудачу в Татищеву крепость, преградить злодею путь к отступлению. Разумно, не так ли? Но кое-что я разведаль. Есть у него под началом каторжник клейменный, хитер и зол, как бес. Он был послан поднимать рабочих людей Авзяно-Петровского завода и с ними возвращаться под Оренбург. Я шлю полтысячи человек с двумя орудиями ему наперехват, сам с основными силами – следом, и туда же, к Юзеевой, должна быть рота гренадер – сто восемьдесят солдат, четыре офицера. И тут среди ночи пушки палят! Кто ж мог знать, что гренадеры с перепугу пойдут сдаваться?

«С перепугу ли?» – подумал Архаров. Его с самого начала бунта беспокоило пылкое желание черни быть обманутой...

– Мы восемь часов от его казаков с башкирами уходили, насили ушли. Они-то чем рискуют? Учинят пакость, учинят смертоубийство, да тут же по степи, как ветер, рассеиваются. А их артиллерия не в пример действенной нашей, потому что в лошадях убытку не знают, всегда им свежих подгонят, с одной горы стрельбу произведут – тут же к другой скачут, и весьма проворно!

– Сколько ж вы под Юзеевой человек потеряли? – спросил Волконский.

Кар замялся. Вопрос был ехидный – по сведениям, ушедшим в Санкт-Петербург, из полутора тысяч он потерял всего-навсего сто двадцать три человека.

– Потеряли немного, точно. Да только вы подумайте, князь, сколько же у нас на плечах тех бунтовщиков висело, коли вынудили нас отступать? – спросил он. – Могу сказать – двадцать пять тысяч!

– Побойся Бога, Василий Алексеич! – вскричал Волконский. Архаров недоверчиво посмотрел на генерал-майора – цифра была ужасающая. Может, и впрямь у самозванца столько войска, да не все же оно разом за Каром гналось...

– И не мужики, не деревенщина, – казаки да башкиры, которые чуть ли не в седле рождаются. Почему, вы полагаете, мне в столицу ехать не велено? – спросил Кар. – Да потому, что там все еще зовут бунт глупым фарсом да кличут зачинщика маркизом Пугачевым. А это не фарс, это – война!

Волконский от страшного слова картинно шарахнулся, даже руками замахал.

– Помилуйте, какая война? Со своим же народом война?

– Да, ваше сиятельство, не извольте гневаться! Со своим же народом! А в Санкт-Петербурге сего знать не желают! Меня не с народом – с сотней, много – с тысячей бунтовщиков справиться посылали. А против народа...

– Молчи, сударь, молчи! – приказал Волконский. И явно уже думал, как бы сбежать, не вступая в склоку с бредящим больным.

– А коли народишко-то прав? – вдруг прошептал Кар. – Что скажете? Коли не напрасно к самозванцу и офицеры пленные на службу идут? Сказывали, Михайла Шванвич ему служит, а ведь покойной государыни крестник! И покойного государя знал в лицо! Что скажете, сударь?

Архаров засопел. Но промолчал.

Вот это и была главная беда – не количество бунтовщиков и не захваченные ими пушки, а образ долгожданного царя, который, спасшись от неминуемой кончины, жил среди простого народа и ведает его нужды. И все более доказательств тому, что армию ведет именно обучавшийся у немцев, а именно – у голштинцев военному делу Петр Федорович...

– А ничего не скажу – я государыне присягал, и тут других речей не надобно, – отвечал Волконский. – Угломонитесь, сударь, и сидите тихо, лечитесь. Незачем вам в Санкт-Петербург ездить и громы небесные на себя навлекать. Самовольно оставили свой пост – ну так хоть не усугубляйте.

Это был почти что приказ.

– Нет, я поеду, дабы оправдаться, – сказал Кар. И еще некоторое время они спорили, причем Волконский все более ссылался на Карову горячку, пока не явилось в разговоре имя полковника Чернышова, взятого в плен и повешенного маркизом Пугачевым за одно лишь то, что был дворянин и служил государыне – причинить бунтовщикам особого вреда Чернышов не успел.

– Каких вам еще аргументаций? Стал бы покойный государь вешать полковника? – спросил Волконский.

– Взятых в плен на войне вражеского офицера...

– Молчите, сударь! – тут уж Волконский не выдержал. – С кем, в таком случае, этот мнимый государь ведет войну? С собственным своим дворянством? С собственным народом?

Спор, понятное дело, зашел в тупик.

Архаров не вмешивался. Он хотел услышать то, что могло бы пригодиться в его собственной деятельности – а ему велено обеспечивать спокойствие Москвы: как изволила выразиться государыня, задача полиции есть благочиние. Полезного услышал мало.

Все то же самое они уже не раз проговорили между собой с Волконским – и без крика, без суеты.

Поняв, что более нет смысла сидеть, он откланялся. Князь удерживать не стал, зато Кар явственно забеспокоился. И то – сидел-сидел, молчал-молчал обер-полицмейстер, да вдруг и засобирился. Мало ли – а вдруг этой же ночью донос напишет? В свои сорок три года Кар был довольно опытен, чтобы знать: человек в должности обер-полицмейстера не может быть ангелом невинным и беспорочным, наверняка по дороге к своему званию одолел немало соперников. Опять же – наиудобнейше одолеть человека, когда он валяется в полубреду, отпиваясь клюквенным морсом...

Архаровцы ждали в теплых сенях, куда им подали чай с ромом и постные пироги – с капустой и с грибами.

Их было пятеро – Федька Савин, Тимофей Арсеньев, недавно лишь оправившийся от раны новый архаровец – Степан Канзафаров, Захар Иванов и за кучера в передних санях – Максимка-попович. Все – при оружии, тепло одетые, премного довольные согревающим чаем.

Во вторых санях с Архаровым обычно ехал секретарь Саша Коробов, но в тот день он остался на Пречистенке – в тишине и покое отвечать на скопившиеся письма. Поэтому Архаров к князю ехал один, с конюхом Григорием на облучке. Но для дороги домой он пожелал собеседника. Посмотрел на своих орлов – и выбрал Степана.

Степан на вид был – степной житель, и из весьма дальних степей, плосколицый, узкоглазый, с калмыцким носом, с особенным оттенком темной кожи, какой в Европе и не встретишь. Шустрый Демка утверждал, что отцом его был китаец, а в доказательство приводил картинки на ширмах в доме Волконского – с китайцами и китайками на мостиках и в окружении пагод. Даже стянул где-то фарфоровую тарелку в стиле «шинуазри», на которой был изображен человек в причудливой одежде и островерхой шляпе, охотящийся с сачком на бабочку. Сходство было несомненное. Саша Коробов, начитавшийся трудов академика Миллера, десять лет изучавшего сибирских инородцев, как-то не поленился расспросить Степана – но тот был незаконнорожденный и о родне своей мог лишь догадываться, сам же себя считал русским человеком, русский язык был ему родным, а других он попросту не знал. Прозвание же ему дал усыновивший его содержатель постоянного двора. И где тот двор – Степан тоже затруднялся ответить.

Архаров знал, как Канзафаров был предан своему барину, измайловцу Петру Фомину, царствие ему небесное, и хотел как-то показать бывшему денщику, что понимает и одобряет его поведение – хотя из-за Степанова своевольтства немало было у полиции совершенно лишних хлопот. Но говорить кумплиманы обер-полицмейстер и не умел, и не желал. Он полагал, что взять человека к себе в сани – и есть наилучший кумплиман.

Потому, когда сани тронулись, он сперва молчал, потом задал несколько простых вопросов: доволен ли Степан жалованием, товарищами, новым жильем. Правдивого ответа не ждал – это было лишь ритуалом, означающим благосклонность начальника к подчиненному.

Когда подъехали к особняку на Пречистенке, первые сани сразу покатали в переулок, к воротам черного двора, чтобы тут же и распрягать, а архаровские замедлили ход – полагалось бы хозяину дома прибыть к себе достойно, через курдонер и парадное крыльцо, однако хотелось поскорее в тепло, а не выписывать вензеля.

– Со двора давай, Гриша, – сказал Архаров конюху. Тот кивнул, прошелся вожжами ponad конским крупом – и мерин без вразумления понял, что надобно двигаться рысцой к родной конюшне.

Тут и раздалась два выстрела.

Стрелявший полагал, что архаровским саням вот-вот отворят ворота, и не предположил, что обер-полицмейстер вдруг прикажет заезжать со стороны переулка. Поэтому первая пуля ушла туда, где была бы голова Архарова, если бы гнедой мерин сразу не послушался вожжей. А вторая, более разумная, тоже не достигла цели – Канзафаров произвел действие, которое товарищи потом определили как подзатыльник. Но другого способа быстро заставить обер-полицмейстера пригнуться, очевидно, не было.

Без оружия Архаров давно уже не ездил. Пистолеты были упрятаны под сидение. Он выдернул один, выпалил туда, где в глубине Чистого переулка мелькнула и исчезла длинная тень.

И тут же прозвучал еще выстрел – на помощь неслись сани с архаровцами. Максимка-попович как раз сворачивал к воротам – и Федька, соскочив на снег, схватил коня под уздцы, завернул вокруг себя, пробежал, давая ему верное направление, несколько шагов и, чуть приотстав, бросился в сани, на колени к товарищам.

– Навпереймы! – закричал Архаров. – Гришка, гони!

Он хотел перехватить ночного стрелка на выходе из Чистого переулка, и это почти удалось. Вот только стрелок оказался не один – его там ждали и товарищи, и сани.

Архаров со Степаном налетели первыми. Еще в снях расстегнув, а затем и вовсе скинув шубу, Архаров с пистолетом в левой руке выпрыгнул в глубокий снег, выстрелил, кто-то заорал, и тут, словно нарочно под обер-полицмейстерский кулак, подскочил человек с замотанным лицом. Не стоило ему этого делать – тут же он, схлопотав жестокий тычок в зоб, полетел затылком вперед и, кабы не забор, мчался бы по воздуху далеко и долго.

Залаяли ополоумевшие от стрельбы собаки, попрыгали с саней архаровцы, и какое-то время было совершенно непонятно, кто тут кого бьет: все в темных шубах и полушубках, скользящих движения, один обер-полицмейстер – в кафтане с золотым галуном в три ряда, и при этом – в валенках.

Архаров выстрелил, промазал; сбросив рукавицы, пошел махать чугунными кулаками; бился отчаянно, вмазал с разворота туза, другого туза – не будь противники в тулупах, положил бы им ребра, а так – лишь раскидал. Как назло, валенки скользили, и он, не удержавшись посре резкой свили, тяжело рухнул, сел на задницу и, ошарашенный, нелепо взмахнул руками. Тимофей, испугавшись, кинулся к нему, за Тимофеем – Федька, а в результате и стрелок, и его приятели успели, отступив, сесть в сани – да не только в свои, но и в полицейские. Раздался свист, кони понеслись, заорали Степан и Федька, Максимка-попович, самый из всех быстрыногий, взял у Захара пистолет и побежал вдогонку. Неожиданно метким выстрелом он достал

в шею кучера, тот завалился, но, когда подбежали Захар со Степаном, в санях лежало лишь полумертвое тело – преступники дали стрелкача.

Архарова подняли, он, ругаясь, побежал за Степаном и Захаром. Тимофей, выхватив из саней его шубу, поспешил следом. И, собравшись возле отбитых у противника полицейских саней, архаровцы обнаружили, что покушение на их командира осталось почти безнаказанным: стрелок сбежал, имени-прозвания своего не сообщив, а подстреленный кучер был весьма плох.

Его перенесли в дом, но ясно было – он на белом свете не жилец. Максимка выстрелил так удачно, что пуля угодила в позвоночник, как раз туда, где голова крепится к шее, от чего кучер лишился употребления рук и ног, а также языка.

Сам виновник отличного выстрела забился в какой-то угол и там горько плакал – испугался дела рук своих. К нему послали Меркурия Ивановича – утешать.

– Ну-ка, братцы, взять фонари – да в Чистый, – велел Архаров. – Изучить следы, пока их спозаранку не затоптали.

– Какие следы, ваша милость? – спросил Тимофей. – Мы там так снег перемесили – будто вепри воевали.

– Не знаю, какие, а поглядеть надобно сейчас, – уперся Архаров.

Федька и Тимофей переглянулись – что же, приказы не для того, чтобы их обсуждать, и покушение на обер-полицмейстера – дело нешуточное. Тут же Федька махнул рукой Канзафарову, Захару Иванову, и они поспешили из сеней особняка на конюшню, где у Сеньки было в чуланчике немало разных фонарей, и старых, и новых.

Вернулись архаровцы чуть ли не час спустя.

Кучер все не помирал, даже, коли судить по взгляду, и в беспамятство не впал. Архаров велел его раздеть. Никодимка и прачка Настасья, баба удивительной силищи, отмотали с кучерского кожуха пояс, распахнули его, и тут вышло первое диво – под кожухом явился вполне благопристойный кафтан. Такой кафтан впору было бы носить чиновнику за пределами присутственного места, а не крепостному кучеру и даже не обывателю, подрядившемуся в кучеры.

– Заговор, – пробормотал Архаров.

И точно – все это мало походило на случайные затеи какой-нибудь шайки голодранцев. Несколько пистолетов, сама мысль – подкараулить в такое время, когда Архаров обыкновенно возвращался от Волконского, и меткость стрелка – сии аргументы показывали, что убийство обер-полицмейстера задумали и пытались совершить люди более или менее толковые.

– Обыскать!

В карманах нашли табакерку с хорошим табаком, кошелек с деньгами, платок с вышитым вензелем («От невесты, поди, подарок...» – заметил Архаров), несколько бумажек.

– Сашка, читай, – велел обер-полицмейстер секретарю.

– Счет от булочника, – просмотрев, сказал Саша. – По-немецки выписан.

– Прав был Шварц – вот и немецкий след объявился. А кем и кому выписан?

– Тут оборвано.

– Далее.

– А тут по-русски. Тоже счет. Только это он, сдается, сам для себя писал. И на обороте – по-немецки, вирши. Почерк прескверный, не разобрать...

– Грамотный... – неодобрительно сказал Архаров, подошел к лежащему на полу кучеру и опустился на корточки, низко нагнувшись к лицу раненого. – Ну что, либер херр, плохи наши дела? Может, к тебе хоть вашего немецкого попа позвать?

Кучер закрыл глаза.

– Согласен, что ли? Сашка, ты не знаешь, как там у них? Исповедуют, причащают? Или как-то иначе?

Тут кучерская рука задергалась, заскакала по полу, пальцы стали сжиматься и разжиматься.

– Гляди ты, воскресает! – удивился Архаров. – Не желает на тот свет!

Подошел Меркурий Иванович.

– Ваша милость, не извольте его сейчас шевелить, – сказал домоправитель. – Я, на войне бывши, такое видывал.

– А где ты воевал?

– Под командой капитана Кайсарова был в морском сражении при Корпо, со шведами дрались, – неохотно отвечал Меркурий Иванович. – Там был ранен в грудь навывлет, пришлось уходить в отставку.

Архарову сделалось неловко – об этом надобно было спрашивать сразу, когда брал Меркурия Ивановича в домоправители с хорошей рекомендацией. Решив придумать ему какие-нибудь наградные, Архаров опять устался в кучерское лицо, пытаясь вычитать на нем подробности заговора. Но лицо не двигалось, лишь рука бестолково моталась, как бы ведя самостоятельную жизнь и пытаясь избавиться от окаменевшего тела.

В сени вошел Федька, весь в снегу, встряхнулся, направился к Архарову и остановился шагах в пяти от него – чтобы не совсем уж сверху глядеть на свое начальство.

– Ну, что? – спросил Архаров.

– Вот и вся добыча, – Федька достал из-за пазухи и протянул мятую тетрадку.

– Что такое? – Архаров поднялся и двумя пальцами взял в руки сомнительный трофей. – Более ничего не сыскали?

– Более ничего, – отвечал Федька. – Пистолет разве, и то – на нем не написано, чей и откуда. Хорошей работы пистолет, Тимофей сказал – аглицкой работы, для малого заряда.

Оружие оказалось при нем – засунул за край валенка.

Вошли Степан, Тимофей, Захар – все с пустыми руками. Обступили обер-полицмейстера, удрученными лицами показывая: вот ведь незадача...

– Ну, поглядим.

Архаров открыл тетрадку и поморщился – она была исписана виршами. Причем вся. Он удивился было – кому взшло на ум смастерить столь длинное стихоплетство, пригляделся – понял: отдельные короткие строчки содержали лишь имена «Ксения», «Димитрий», «Георгий», «Пармен», «Шуйский», стало быть, в руках обер-полицмейстера была пиеса.

К театру Архаров был не совсем равнодушен – в юные годы бегал смотреть кадетов Шляхетного корпуса, которые разыгрывали при дворе трагедии господина Сумарокова. Зрелища были прескучные, но государыня Елизавета Петровна, ныне покойная, им покровительствовала, Архарову же забавно было видеть молодых людей, коих он знал в мундирах, обряженными на театральный лад и возглашающими вирши. Кончилось тем, что он этим увеселением объелся – как-то на масленицу удалось ему посмотреть шесть трагедий подряд, и как отрезало. Впоследствии он бывал в петербургских театрах, но в московских – ни разу.

Архаров перелистал и даже потряс тетрадку – ничего не выпало.

– Сдается, там днем актеришка какой-то пробежал и потерял, – сказал он архаровцам. – Теперь ему ролю учить не по чему. Клашка, забирай. Будешь мимо воронцовского театра пробежать – занеси. Федька, показывай пистолет... ишь ты, занятно...

* * *

Шварц, узнав про покушение, был сильно недоволен. Заперев изнутри дверь кабинета, он принялся читать Архарову нотацию.

– Все не так делается, сударь, все не так, – сказал он. – Теперь хоть, сударь, наберитесь ума да будьте осторожны. Брать с собой четверых полицейских да парнишку на облучке в вашем положении – ребячество. Следующая же пуля ваша будет. И извольте наконец хороших кобелей у себя на дворе завести. Спустили бы кобелей – они бы за людей всю работу сделали.

Архаров молчал.

– И полицейские пока еще плохо обучены. Что им помешало хоть одного злодея в плен захватить? Максимку же следует отметить и выдать ему наградные.

Что помешало – Архаров знал, да не хотел рассказывать. Он сам и помешал – когда в общей суете шлепнулся, подчиненные, все бросив, поспешили к нему – спасти.

– Как погляжу на наших молодцов, так и вспоминаю с печалью пресловутого Ваньку Каина, – сказал Шварц. – Было бы вашей милости ведомо, он умнейшую мысль породил, только воплотить не успел. Кабы успел – нам бы с архаровцами поменее хлопот вышло.

– А что за мысль? – спросил Архаров, словно не замечая, как ловкий немец назвал полицейских, поди знай – по привычке или с умыслом.

– А училище собрался открывать – сыскное и для иных государевых нужд. Думал набрать туда сирот и учить полицейскому ремеслу, сам даже грозился приходить в классы, вести занятия. Но тут Алексей Данилович до него добрался, стало не до учеников.

– Алексей Данилович?

– Господин Татищев, бывший в ту пору у нас генерал-полицмейстером.

– Рассказал бы ты, черная душа, хоть раз про все это дело подробно, – попросил Архаров. – А то Марфу послушать, так краше Ваньки Каина на Москве и кавалера не было. А у нас в полицейской канцелярии старики от одного имени плюются. Говорят – по грехам его Каином прозвали.

– И то, и другое – чистейшая правда, – объявил Шварц. – Кавалер был отменный – девок перепортил, что нам с вами и не снилось.

Архаров, как всегда, подивился, сколь занятно вплетает Шварц в свою гладкую и несколько вычурную, как если бы по книжке вслух читал, речь простонародные словечки.

– Коли его самого послушать, так был он из крестьян, семилетним отдан к купцу в услужение, – продолжал немец. – Может, и так, проверить невозможно, давно все это было, еще при покойном государе Петре Алексеиче, поди, или несколько позже, но до того, как покойная государыня Анна на престол взошла. При государыне Анне он уж воровским ремеслом промыслял. Сказывали, собиралась его шайка под Каменным мостом, до вашей милости дома – рукой подать. В двадцать лет стал главарем шайки, тоже ведь способности нужно было иметь. И сколько-то времени промыслял. А в тысяча семьсот сорок первом году от Рождества Христова словно подменили молодца – решил на государственную службу определиться. Тогда в Москве Сыскным приказом князь Кропоткин заправлял. Ванюша ему подал челобитную, в которой обещался всю Москву от воров очистить. Тот возьми да и поверь. Дали Ванюше людей, и в первую же ночь он человек с тридцать ведомых воров доподлинно изловил и представил. Тут вся прежняя братия и прозвала его Каином, сиречь – братоубийцей.

– Лихо...

– После чего он прослужил в Сыскном приказе без нареканий лет с пятнадцать. И Москва при нем сделалась такова, что можно было дать дитяти кошелек с золотом и ночью отправить его от Разгуляя до Новодевичьей обители пешком – и золото было бы доставлено в целости и сохранности. Полагаю, вашей милости придется немало потрудиться, чтобы достичь такого же благочиния.

Архаров засопел – но сдержался. Государыня Екатерина полагала главной задачей полиции соблюдение благочиния, и слово сие уже основательно застряло в печенках.

– Далее, – велел он.

– Москву-то Каин вычистил, спору нет, порядок установил, я тот порядок превосходно помню. И при нем, при Каине, чума бы не разгулялась.

– Это как же?

– А так, сударь мой, что у него всюду свои люди имелись. Коли угодно вспомнить, чума с Суконного двора пошла, там первые покойники явились. Но начальство думало сию беду

утаить. А был бы Каин – ни хрена бы не утаили, и тут же мы взяли бы весь Суконный двор под крепкий караул, провиант бы им туда через забор кидали. Человек с сотню бы погубило – да вся Москва бы уцелела.

– Выходит, права Марфа? – несколько удивился Архаров.

– Марфа хитрая особа, много чего знает, да молчит. Я ее с тех времен помню, как Ванюша ее наряжал пуще боярыни и в карете по Москве возил. Я много кого с тех времен помню – и Камчатку, и Мохнатого, они к Каину в Зарядье частенько езжали.

– Кто таковы?

– А давние его дружки. Сперва вместе воровали, а потом, как он в Сыскной приказ попал, стали ему подручными, да только без должности, а так, вроде по старой дружбе. А позвольте милостиво, сударь мой, вопрос задать.

– Да что ты, Карл Иванович? – удивился таковому раболепию Архаров.

– Как вы полагаете, с чего при Каине таковое благочиние развелось?

Архаров пожал плечами.

– То-то и оно, что вы, сударь, по сию пору петербуржец, – с некоторой укоризной и без всякого ехидного раболепия молвил Шварц. – А вся Москва помнит, как господин Татищев с Ванюшей воевал.

– Вот, вот, про сие – подробнее! – обрадовавшись, что наконец дошло до дела, велел Архаров.

– Слухи ходили, будто Каин на господина Татищева донос в Петербург посылал, только это вранье. Не таков был Ванюша, чтобы доносы слать. А вот вам правда – при мне было дело, он Алексея Даниловича обложил матерно.

– Как это – обложил матерно? – Архаров не поверил, что служащий Сысского приказа может так отнестись к генерал-полицмейстеру, но Шварц понял иначе.

– Сказал доподлинно: хрен ты стоптанный, блядин сын, растак тебя конем, – меланхолично принялся он повторять Каиново изречение. Было, видать, и продолжение, но Архаров жестом велел ему замолчать.

– И господин Татищев сие запомнил. Первым делом адресовался к некому своему служащему, кой по природной бережливости не изничтожил, а приберег зачем-то шесть фунтов доносов на Каина.

– Ты, что ли, черная душа?

– Я, сударь. Я-то видел, откуда в Москве порядок, и разумел, что сие ненадолго и доносы пригодятся. Коли в пруду все карасы пропали – что сие означает? Что щука завелась. Вот и тут – мелкие налетчики и мазурики притихли, потому что Москву в лапы крупный ворюга взял. Было более сотни шаек – осталась одна, Каинова. Он про многих такое знал, что по единому его слову на соседа и на брата родного ему доносили. Купцов поборами обложил, кабатчиков, сведен. Воровская добыча к нему попадала – что-то бывшему владельцу возвращал, но большую долю – себе. На него в Петербург доносили, да он знал, кому барашка в бумажке поднести, доносы те к нему же и возвращались, а он не все уничтожить успел. Господа Сенат, наслушавшись, как в Москве стало благостно, циркуляр прислали – не трогать Каина и всячески ему содействовать.

– А Татищев?

– А он все те доносы проверять взялся. И подсказали ему нечто мудреное: не из Петербурга приглашать сыщиков, чтобы докопались до Ванюшиных проказ, а из Казани, из Курска, чуть ли не из Перми. Дотуда Каинова рука не дотянулась, и впервые он тех сыщиков увидел, когда уже взяли его с поличным. Взяли, да и отпустили. Раз не то пять, не то шесть брали и отпускали, пока до суда дело не довели. Первый приговор был – четвертовать. Но он, и казни ожидая, успел-таки кому надо многими тысячами поклониться. Вышла ему бессрочная сибирь-

ская каторга. Но, говорят, до места он не доехал, по дороге скончался. На Москве более не появлялся.

– Про сыщиков тоже ты подсказал?

– Нет, то не моя затея. Но я с ними вместе... подвизался, – вставил Шварц вовсе монашеское словечко. – Так что всякий радующий обывателей порядок, наподобие медали, имеет две стороны. Первая сторона – чья-то сильная рука и великая осведомленность. Вторая, надо полагать, соблюдение владельцем сильной руки лишь тех законов, каковые сам для себя сочинил. Обыватели-то до сих пор Ванюшу вспоминают, потому что к бедному человеку он был милостив.

Архаров вздохнул – от него самого бедному человеку милостей ждать не приходилось.

– Нам с тобой, черная душа, придется уж какими-то иными средствами порядок наводить, – сказал он. – Ладно, будь по-твоему – каждый день меня десяток молодцов сопровождать станет.

– И не в открытых санях разъезжайте, а велите карету на полозья поставить.

– И карету.

– И с дворней построже, девок со двора не отпускать. Бывали случаи, что, девку совратив, злодеи в дом забирались.

Архаров покивал. Все это ему сильно не нравилось.

– А как с кучером прикажешь быть? – спросил он.

– А что, жив?

– То-то и оно, что не помирает, только левой рукой машет. Я уж за Матвеем послал – пущай разбирается. Тебе, Карл Иванович, доводилось с такими ранеными дело иметь, чтобы языка лишились?

– Тут не Матвей надобен, – подумав, сказал Шварц. – Пошлите человека к Марфе, велите передать – пусть деда-костоправа ищет. Я всячески рад развитию медицинской отрасли, однако тут иной случай, тут нам потребно не докторов причудливыми казусами снабжать, а чтобы злодей заговорил.

Архаров усмехнулся – впору уже определять Марфу в штат полиции и платить ей жалование.

– К этой вертопрашке я сам поеду, – решил он. – Может, чего присоветует насчет осведомителей.

– Уж наверное присоветует, – согласился Шварц. – Но в одиночку ехать не след.

– Днем в меня стрелять не осмелятся, – возразил Архаров.

– В одиночку ехать не след, – спокойно повторил Шварц. – Коли изволите упереться на своем, я сам возьму извозчика и вслед за вами, сударь, поеду.

– Леший с тобой, черная душа, возьму Клавароша...

Архаров уже знал про удивительный роман Клавароша с Марфой. И полагал, что обоим будет приятно лишний раз увидеться.

– Мало. Еще пусть едут Ушаков и Канзафаров, – преспокойно распорядился Шварц. И пошел из кабинета вон – в свой нижний подвал, где наверняка томился в ожидании допроса очередной грешник.

До Зарядья ехать было недалеко, и вскоре Архаров со свитой подкатил к Марфиным воротам.

Очередная взятая на воспитание девчонка откликнулась на крик кучера Сеньки, инвалид Тетеркин отворил ворота, и сани въехали во двор.

Марфа не слишком удивилась, увидев ввалившихся архаровцев.

– Вы, молодчики, оставайтесь внизу, – сказала она им, не выделяя Клавароша среди прочих, – а господина обер-полицмейстера я к себе наверх заберу. Наташка! Сбитенька им при-

готовь! Да имбиря не пожалей, чтобы продирало! В холод сбитень – лучше всего. Наташка, стягивай с его милости валенки! У меня наверху жарко, взопреет!

Архаров в одних белых чулках прошел по чистейшим тканым половикам, Марфа в мягких домашних туфлях бесшумно поплыла следом. Они поднялись в розовое гнездышко, Архаров был усажен на стул, хозяйка плюхнулась на постель.

– Приданое перебираешь? – спросил Архаров, показывая на большой ларец, занимавший чуть ли не половину столика.

– Коли даже за тебя пойти – и то своим приданым не осрамлю!

Марфа откинула крышку ларца. Архаров заглянул и увидел сваленные как попало украшения.

– Тут у меня всякого добра полно, – сказала Марфа, – и дешевенькие коральки, и кое-что ценное. Вот, глянь, сударь, такого ты, поди, и при дворе не видывал.

Она выкопала и вытянула жемчужное ожерелье в шесть нитей. Такое украшение, именуемое перло, десятилетиями не выходило из моды и для дамы считалось обязательным даже ежели не носить – то иметь его в хозяйстве. Само по себе Марфино перло было не так чтобы чересчур роскошно, жемчуг – весьма средненький, однако круглая застежка-фермуар была двух вершков в поперечнике.

– Это что, изумруды? – спросил Архаров. – Настоящие, не подделка?

– То-то и оно, что настоящие. Ты уж поверь, много у меня камушков, а эти милее всех. Как затоскую – достану, погляжу, душа утешится, было, выходит, и у меня в жизни то самое, заветное...

– Ивана Ивановича подарок? – догадался Архаров.

– Его самого...

Не в первый раз Марфа показывала, как тоскует о незабвенном своем первом любовнике, что подобрал ее девчонкой, сделал подругой, замуж выдал с хорошим приданым, а сам рухнул с высот, куда забрался хитроумным манером, да и покатыл в Сибирь – на вечную каторгу.

– Что ж не носишь?

– А фермуар из моды вышел. Такие при покойной государыне Лизавете щеголихи носили, да только помельче, камушки помутнее. Да и некуда – ко двору меня что-то не зовут.

Архаров потрогал пальцем фермуар. Тяжелая была вещица, да и изумруды прекрасные, сочного цвета, без пятнышек и трещин...

– Так можно же модную вещицу с этими камушками смастерить.

– Модную – не хочу. Уж не то будет.

– Ювелирам разве камни продать? Дадут немало.

– И куда мне те деньги?

– Замуж выйдешь... – начал было Архаров, но Марфа прямо руками замахала:

– Да ни за какие коврижки!

– А что?

– А то! Повенчают – вот тебе, скажут, муж, на него и любуйся. А теперь все мужики – мои! Не-е... против моего Ивана Ивановича мне мужа не сыскать...

– Так уж был хорош?

Вошла Наташка, поставила на стол поднос с горячим сбитнем, с тарелкой маковников, с тарелкой постных сухариков, и, пятясь, вышла.

– Вся Москва ему первая кланялась. Видел бы ты, что у него в дому делалось – дом-то у нас в Зарядье поставил, до чумы тут многие строились. Я, уже замужем бывши, приходила – у него там под стеклом ананасы росли! Бильярдная была целый дворец. А домой он меня отправлял в своей карете. Ехать-то – быстрее задворками добежать. А я развалюсь на соболях – карета вся изнутри соболями обита была, – да и еду барыней!

– И что муж? – не удержался от вопроса Архаров. – Так и терпел? Ни разу за косы не оттаскал?

– А мне смирного нашли! – расхохоталась она. – Детина с оглоблю, а замахнешься половником – отшатывается! Нет, сударь, фермуар этот со мной и в могилу положат. Буду там лежать да Ванюшу своего вспоминать. Да ты что, свататься ко мне, что ли, приехал? Ведь непременно по делу!

– По делу, Марфа Ивановна, – согласился Архаров. – Сама видишь, что на Москве деется.

– Да уж вижу...

Архаров отпил сбитня – точно, что до мозга костей продирает, закусил сладким маковым.

– Ты баба умная, понимаешь – у меня всюду свои люди должны быть, чтобы доносить – вдруг где какой изменник заведется, речами смущает, деньги невесть за что сулит. Я обязал десятских и сотских доносить, отправил их по торгам, по кабакам, есть которые и в банях ведут наблюдение...

– Как же они там запись ведут? – осведомилась Марфа. – Куда перо с чернильницей прячут? Ну, перо-то еще так-сяк, сыщется куда воткнуть, а чернильницу подвесить?

– Да ну тебя, и с прибаутками твоими вместе! Я дело пришел говорить. Марфа Ивановна, мне ловкие бабы надобны. Ты же знаешь поговорку: где черт сам не осилит, там бабу подошлет?

– Ох, знал бы ты, сударь, сколько раз бывала я той самой бабой... Да только женский пол грамоте не обучен, это у графов и князей девок учат писать и языкам, а в простой семье больше о приданом думают. Да и что проку – вон у старой дуры Шестуновой чему только девку не учили? Научили – из дому утекла!

– Не хуже моего, Марфа Ивановна, знаешь, для чего она из дому утекла. Будто тебе Клаварош не сказывал...

Марфа призадумалась.

– Стало быть, пришел помощи просить? Дай поразмыслить. Помочь – помогу... да только одно плохо...

– Что, Марфа Ивановна?

– Твои сотские да десятские промеж простого народу трутся и толкутся, а там для тебя полезного мало, спьяну всякий дурак грозитя всех бояр перебить, протрезвеет – тише воды, ниже травы. От простого народа один шум, а коли ты впрямь изменника ищешь – он среди купечества, может статья, прячется, или чиновник, или поп...

– Почему ты решила?

– Измена, сударь мой, такое дело, что крика не любит. А тот, кто ее затевает, должен уметь приказывать, чтобы послушных вокруг себя собрать. Когда Ванюшу моего в ловушку поймали, спервоначалу тихонько-тихонько под него подкапывались. Да ты у своего Шварца спроси, он помнит, нехристь!

– Спрашивал.

– Простой люд галдит, да и сам не ведает, с чьего голосу галдит. Этих крикунов таскай не таскай в полицейскую контору – более, чем знают, не скажут, а не знают они ни хрена хренящего.

– А кто знает?

Марфа задумалась.

– Дай-ка мне срок, Николай Петрович... Так сразу и не скажу, а как догадаюсь – девчонку за тобой пришлю.

Архаров вздохнул и встал.

– Так я на тебя рассчитываю, Марфа Ивановна.

– Допей сбитень, сударь, чтоб добро не пропадало.

Он выпил обжигающий глоток напиток и ощутил в себе бодрость. Марфа усмехалась, но глаза были внимательны – как он высматривал в ее лице приметы вранья, так и она высматривала в его лице какие-то иные приметы.

– И еще дельце. Нет ли у тебя на примете костоправа?

– На что тебе?

Архаров неохотно рассказал про покушение и кучера, который по всем приметам должен от удачного выстрела помереть, однако ж не помирает.

– Есть один дед, я его к тебе пошлю, скажется, что от Марфы, да только сомнительно что-то...

– Самому сомнительно. Но Шварц так сказал. А что за дед?

– Дед знающий. Многим помогает. В баню водит, растирает по-хитрому. А еще он знаешь чем знаменит? Водянку тараканами лечит, – сказала Марфа. – Сушит их, в ступке толчет, дает с кашей, но только тут главное, сказывал, чтобы хворому не говорить, не то его наизнанку вывернет. Но толченые тараканы – это не столь сильно, как тараканий сок.

– Тараканий сок? – повторил Архаров. – Ну, матушка, это ты махнула!

– Да я что, разве я этим занимаюсь? А дед из живых тараканов сок жмет, с водкой мешает и пить по капле дает. Сказывали, самую застарелую водянку в неделю лечит. А коли льняное семя пить – так это варить его умаешься, да полгода хлебай его, как лошадь, чуть не ведрами!

Архаров вообразил выжимание сока из тараканов, и ему чуть не сделалось дурно.

– Молчи, Марфа Ивановна! – велел он. – От твоих речей с души воротит!

– Так я что?! Не я же тех тараканов!..

– Молчи, говорю!

– Ахти мне!..

Должно быть, Архаров, прикрикнув на Марфу, сделался даже для нее страшен – она отшатнулась.

Несколько времени они молча таращились друг на дружку.

– Ну, Господь с тобой, – сказал наконец обер-полицмейстер и пошел прочь из розового гнездышка.

Его орлы, включая кучера Сеньку, сидели внизу за кухонным столом, играли в карты.

– Будет тебе, Ушаков, дурию маяться, – сразу определив хозяина колоды, сказал Архаров. – Ушаков, Канзафаров – со мной, Клаварош, ты сегодня отдыхай. Пошли, ребята.

Он сел, позволил надеть себе валенки. Потом ему подали шубу, шапку. Он запахнул, стал огромен и, видимо, грозен – архаровцы вытянулись в струнку.

Сенька пошел первым – подгонять сани к крыльцу и кричать Тетеркина – чтобы снова отворил да затворил ворота. Архаров – следом.

Падал мягкий влажный снег, тут же украсил его бобровую, крытую синим бархатом шубу большими, отчетливого рисунка, звездочками. Пока доехали до Лубянки – плечи и грудь сделались белые, на шапке образовался сугроб.

– От его сиятельства ничего не было? – спросил, подходя к кабинету, Архаров.

Никаких записок Волконский не прислал. Зато случилась в Охотном ряду драка с членовредительством, а под шумок – воровство. И чуть попозже, как стемнело, еще драка вышла – между десятскими и мужиками, что спьяну полезли на какой-то забор – сами не ведая, зачем.

Жизнь продолжалась, а самозванец осаждал Оренбург и брал одну за другой близлежащие крепости.

О том, как Кар, послушавшийся государыни, запретившей ему являться в Санкт-Петербург, все же туда притащился и, еле держась на ногах, стал выяснять судьбу своих донесений в Военную коллегия, Волконский с Архаровым узнали из указа, привезенного генерал-аншефом Александром Ильичом Бибиковым. Ее императорское величество, разгневавшись на своевольного Кара, так прямо написать изволили: «не находит прочности в нем к ее службе и высочайше

указать соизволила Военной коллегии его уволить и дать абшид, почему он из воинского стата и списка и выключен».

Бибиков, человек опытный, получил от государыни неограниченную власть в местностях, захваченных самозванцем, и был отправлен исправлять то, что, по общему санкт-петербургскому мнению, напортил Кар. Понятное дело, через Москву.

– Уж и то благо, – сказал он Волконскому, – что в столице всю опасность осознали. Деколонг, что командует Сибирской линией, пишет: башкирский народ-де генерально взбунтовался... А что у вас?

– Сам, батюшка, видел, – отвечал Волконский. – Наша первопрестольная в страхе и унынии.

– Да уж видел, как чернь по улицам шатается и буйственное свое расположение к самозванцу возглашает. Свободу он им, вишь, несет... От чего свободу? Не крепостные же...

– От каждодневного труда свободу, – печально произнес князь. – Свободу громить погребца и пить все, чего душе пожелает, прямо из бочки. Ты, Александр Ильич, обещаю мне правду писать, чтобы в случае крайности хоть что-то успеть сделать.

– Писать буду, – обнадежил Бибиков.

Архаров и тут при встрече говорил мало, больше приглядывался. Бибиков ему понравился – военное дело знает, умен – недаром председатель Уложенной комиссии, что печется о законах. И оказал Архарову более уважения, чем Кар: тот лишь сам себя слушал да с князем споры затевал, Бибиков же расспрашивал Архарова о полицейских мерах против сторонников самозванца. Расспрашивал разумно – сказывалось, что он сам умирал народные волнения в Казанской и Симбирской губерниях.

– Задержись малость – Александра Васильевича с помолвкой поздравить, – сказал Бибинову Волконский.

– А когда сие?

– Собираюсь восемнадцатого числа.

– Экий он у нас шустрый... его бы с собой в Казань взять... – Бибиков вздохнул.

– Ты его теперь не трожь! – грозно и весело разом предупредил князь. – В кои-то веки собраться изволил!

Поздравлять генерала Суворова с помолвкой поехали все разом. Жил он недалеко от Волконского, в отцовском доме на Большой Никитской, за Никитскими воротами, в приходе здешнего Вознесенского храма. Дом был приобретен незадолго до чумы и довольно велик, чтобы вместить большое семейство – одряхлевший батюшка генерала, сам – генерал-аншеф, сенатор и подполковник Измайловского полка Василий Иванович уже хотел наконец увидеть от старшего сына внучат. Сам он и сыскал невесту – засидевшуюся в девках, но имеющую знатную родню княжну Прозоровскую. Суворову оставалось, прискакав в Москву, лишь формально посвататься.

Архаров эту девицу знал – она жила неподалеку от Лубянки, близ того каменного Кузнецкого моста, что дал название всей улице. Он встречал ее как-то у княгини Куракиной, сестры графов Паниных, на Мясницкой, и в доме Татищева, что у Красных ворот. Там ею вслух восхищались и прочили ей знатных женихов, однако втихомолку посмеивались – где таких в Москве сыщешь? Да и не первой свежести девка – двадцать четвертый, что ли, годок пошел.

Архарову и самому намекали, что сватовство было бы принято благосклонно, однако он не торопился – о княжне ходили кое-какие слухи. Хотя и лицом, и станом она ему нравилась – была статна и румяна от природы, с правильным красивым лицом, вот только рот его несколько смущал, было в складке губ нечто неприятное. Таким губам доверять никак не следовало.

Суворовы, старший и младший (матушка жениха давно скончалась) принимали поздравителей. Архарову было любопытно, как себя чувствует жених, надумавший заводить семью довольно поздно – Александру Васильевичу месяц назад исполнилось сорок три. Он собирался

прочитать по лицу правду об этом внезапном и решительном поступке – не может же быть, что лишь по отцовскому настоянию генерал сподвигся на брачные узы.

Суворов-младший был, как всегда, звонкоголос и подвижен, хотя прихрамывал. На поздравления отвечал бойко, но как-то скучно: долг ему, изволите ли видеть, выполнить пора настала. И ведь не врал – не даром о его праведном образе жизни уж чуть ли не легенды ходили. Точно не врал – даже когда толковал, что Богу-де неуютно, ежели люди не множатся, толковал искренне! Однако несколько сбивали Архарова с толку подвижные брови, постоянно меняющееся выражение сухого морщинистого лица... такие живые физиономии ему не часто встречались...

И Архаров признался себе, что, коли бы судить по лицу, он вовеки бы не принял этого сутуловатого невысокого офицера за полководца, коего считали одним из наилучших в российской армии. И только утешало, что имя героя соответствовало: Александр – сиречь защитник людей, а про Суворова все знали, что солдат он бережет.

Но утешало недолго. Дамы и молодежь пристали к жениху с вопросами: которую из книг он наипаче всего уважает.

– А вы угадывайте, – предложил Александр Васильевич.

Перебрали едва ль не все имена, русские и французские, зная, что Суворов владеет языками. Он только мотал головой да иногда крестился, что, видимо, означало: борони меня Господь от такого непотребства. Наконец все умаялись и стали просить его сознаться.

– А все просто, – сказал он. – Люблю книги полезные – «Домашний лечебник» да...

Тут он стрельнул глазами вправо и влево, словно отыскивая лишние уши. Не сыскал – пожилых дам рядом не случилось, и тогда лишь негромко, но бойко и с большим лукавством выпалил:

– «Пригожую повариху»!..

Тут Архаров и растерялся. «Пригожая повариха» была одной из немногих известных ему книг, и никакой большой пользы он в ней не обнаружил – надо же, была, оказывается, польза! Или все же нет? Уж больно весело глядел Суворов – поди докопайся, что он имел в виду.

Архаров таких загадок не любил. Они обычно сбивали его с толку. Впрочем, от Суворова чего-то эдакого и следовало ожидать. И то, что Бибииков вдруг широко улыбнулся, тоже несколько смутило. Он уразумел суть шуток, Архаров же – нет, и оттого пришел в сумрачное состояние духа. А когда он напускал этот сумрак на тяжелую свою физиономию – посторонние старались близко не подходить.

Суворовский визит был недолог – вся Москва спешила на Большую Никитскую с поздравлениями, гости толклись в сенях, – и Архаров с Бибииковым вскоре откланялись. Бибииков уже беспокоился – ему следовало быть в Казани.

На следующий день после того, как он уехал, в кабинет к Архарову неожиданно попросился Клашка Иванов.

– Ваша милость, – сказал он. – Приказание ваше выполнил, да толку не получилось.

Он достал из-за обшлага мятую тетрадку и неуверенно протянул обер-полицмейстеру.

– Как так?

– В театре сказали – сие есть трагедия про самозванца, а они такой не ставят.

– Какого самозванца? – удивился Архаров. – Мать честная, Богородица лесная! Уже кто-то успел настрочить?!

Он первым делом подумал про злодея, осадившего Оренбург.

Клашка выронил тетрадку и подхватил у самого пола. Затем положил на край стола, глядя на нее с изумлением.

– Сашка! – крикнул было Архаров и тут же вспомнил, что секретарь сидит дома с больным горлом.

– Ваша милость, я в театре расспрашивал – нигде более в Москве про самозванца трагедий не играют, – сказал Клашка. – И не собираются. А это, сказывали, давешнее сочинение господина Сумарокова. Когда-то раньше его на театре играли, а теперь – нет.

– Трагедия про самозванца, говоришь? – Архаров взял тетрадку и сунул в карман кафтана. – Ну, ладно.

Вечером, вернувшись на Пречистенку, он первым делом пошел навестить секретаря.

Саша сидел в постели с обмотанным горлом и держал на коленях какую-то очередную астрономию.

– Молчи и слушай, – приказал Архаров. – Вот трагедия. Прочитай внимательно, сделай экстракт. Молчи, не говори, коли что – кивай или мотай башкой.

Саша кивнул, взял тетрадку, раскрыл и тяжело вздохнул.

– Ты чего? – забеспокоился Архаров.

– Это еще почище Тредиаковского будет... – просипел Саша.

Сию фамилию Архаров знал – и, хотя сам подавно не читал трудов Тредиаковского, смысл сравнения понял: весьма увесисто, с древними словесами, и человеку нынешнего времени уразуметь затруднительно.

Саша собрался с силами, трагедию прочитал, и утром к фрыштику Архарову принесли записку. Она гласила: надобно послать кого-то из слуг в книжную лавку и узнать, подлинно ли трагедия о самозванце напечатана, как это делается с иными трудами Сумарокова; коли напечатана – купить, поскольку иные места Сашу несколько смущают.

Архаров, почти не удивившись – тетрадка уже казалась ему очень подозрительной, – пошел к секретарю. Меркурий Иванович, сидя на краю постели, отпаивал того каким-то декохтом, изготовленным из сока черной редьки, и Саша уже мог говорить более внятно.

– Гляньте, Николай Петрович, – Саша показал вымаранные строчки. – Кто-то сию трагедию переделывать взялся. Вон, я разобрал:

Зла фурия во мне смятенно сердце гложет,
Злодейская душа спокойна быть не может.

– Не враки, чистая правда, не может, – согласился с незримым стихотворцем Архаров. – Чего ж ее вымарывать?

– Вот и я рассуждаю – для чего? Только, Николай Петрович, тут такая тонкость – эти строчки из преогромного монолога Димитрия Самозванца. Он в сей пьесе главный и единственный злодей – и сам себя злодеем на каждой странице честит!

– Уж так ли на каждой?

– А вот! – Саша показал еще на две вымаранные строчки. – Я и эти разобрал. Извольте:

Я к ужасу привык, злодейством разъярен,
Наполнен варварством и кровью обагрен...

– Наполнен варварством? – переспросил Архаров.

– Именно так, Николай Петрович. И все сии кумплиманы Димитрий сам себе говорит. Такая диковина.

– Ну так и неудивительно, что кто-то разумный эту дурость замазал, – решил Архаров. – Так сам о себе говорить может разве что умалишенный... надо за Матвеем послать, он намерен про спятивших рассказывать, может, чего присоветует.

– Сообразно логике человек, взявшийся вычеркивать из трагедии явные глупости, должен хотя бы самые крупные заметить, – сказал Саша. – А вот, извольте, что не просто оставлено, а обведено чернилами и сбоку знак «нота бене».

– Какой знак?

– «Нота бене», сиречь по-латыни – «заметь хорошо».

И Саша прочитал четыре строки из первой же речи самозванца:

*Российский я народ с престола презираю
И власть тиранскую неволей простираю.
Возможно ли отцем мне быти в той стране,
Котора, мя гоня, всего противней мне?*

– Но и тут вымарано, – добавил Саша. – Неведомый правщик замазал два слова – «мя гоня». И далее постоянно те же диковины – одно вычеркнуто, иное – «нота бене». Вот я и хочу докопаться – что за притча? Но для того мне нужно иметь подлинное сочинение господина Сумарокова.

– Пошли Никодимку в книжную лавку, – сказал Архаров. – А сам из кровати – ни ногой. Потом доложишь. Меркурий Иванович, я Матвею записку отправлю, когда придет – ни капли не наливать, хоть бы в ногах валялся и помирал. Да уж, кстати о покойниках...

– Жив, ваша милость, – отвечал домоправитель. – Все дивятся, а он жив. Пробовали в рот ему теплый бульон вливать – верите ли, проглотил. Костоправ, что Марфа Ивановна прислала, сказывал – позвоночный столб не посередине поврежден, а что-то там отломилось. Может, обломок сам понемногу с места сдвинется и станет неопасен. А шевелить нельзя.

– Он хоть понимает, что тут за ним ходят, лечат его, помереть не дают? – спросил Архаров.

– Что-то он понимает, хоть и немец.

– Ты уверен, что немец?

– Сдается, так. Я нарочно ему по-немецки песенку спел, так у него слеза выкатилась.

Архаров по этому поводу имел свое особое мнение: Меркурий Иванович петь любил, имел в своей комнате флейту и спинет, заучивал все модные песенки, вот только слушать его можно было лишь при особо благожелательном к нему отношении. Возможно, кучер просто обладал чутким к музыке ухом...

Тут вспомнился Левушка, от которого давно уже не было ни строчки. И Архаров почувствовал, что известие от приятеля уже совсем близко, уже летит к нему, но вряд ли будет очень приятным...

* * *

Суворов, женись, несколько переменялся – возможно, потому, что полагал должным перемениться от неожиданного благополучия. А может – как брякнул князь Волконский Архарову в совершенно приватной беседе, – до сей поры и впрямь не знал амурных радостей, тут же – каждый вечер ждет в постели молодая, цветущая супруга. Так ли, этак ли, стал тише, уже меньше смахивал на мелкого задиристого петушка. Медовый месяц его был воистину месяцем – 18 января в храме Феодора Студита его с Варварой Прозоровской повенчали, а в середине февраля он уж засобирався в армию.

Архаров с некоторой ревностью следил за счастливым Суворовым, хотя сам никогда не помышлял жениться на княжне. Он примеривал мысленно на себя уютный шлафрок женатого человека – ибо сам, как Суворов, засиделся в холостяках, и нужды нет, что он никогда не видел генерала в шлафроке... Он примеривал на себя уютный семейный быт, которым явственно наслаждался в эти дни Суворов, а кончилось тем, что дважды звал к себе прачку Настасью... чем-то она была похожа на совершенно ему не нужную госпожу Суворову...

Счастья от того не прибавилось.

А вот трудов прибавилось. Москва явственно готовилась колобродить. И прорезалась зависть к тому же Суворову: он-то едет на войну, где все понятно, вон там – враг, а вот тут – наш лагерь, а лазутчиков – по закону военного времени... В Москве же иного злейшего врага и не прищучишь толком, потому что граф или князь, – и поди запрети ему нести чушь, сбивать с толку дворовых людей, а они разнесут по всей улице...

Десятские доставляли столько невероятных сплетен, что при зачитывании вслух уши вяли. Десятка два самых отчаянных крикунов уже спозналось с нижним подвалом Шварца, но это были именно что крикуны – знали только то, о чем галдит вся Москва, не более. А Архаров чуял – есть заговор. И искал следы, ниточки искал, за которые можно потянуть. Следов же все не находилось...

Почудилось однажды: вот оно, есть! К Архарову привели старовера, совсем дремучего деда, о коем донесли – хвалил-де государя Петра Федоровича принародно. И спервоначалу дед толковал складно – да, ждет явления покойного государя, который-де вовсе не покойный, поскольку тот, воссев на троне, тут же запретит брадобритие, употребление табака и заморские крепкие вина. И объявил, когда именно ждет, приведя этим в смятение всех присутствовавших, но далее понес ахиною – что-де велел писать с себя образа, велел-де всем служить по себе панихиды, но при том предсказывал, что придет хвостатая звезда, означающая нашествие тридцати языков. На всякий случай деда придержали в верхнем подвале, а архаровцы были отправлены разбираться с его соседями в окрестности Ваганьковского кладбища. Вернулись несколько смущенные – выяснилось, что там поселились уже не просто староверы, а скопцы, и они-то втихомолку почитают покойного государя пророком... мирно почитают, без желания браться за оружие, да и куда им...

– Мать честная, Богородица лесная, – только и смог сказать Архаров. – Их мне тут не доставало...

Тетрадку с пьесой про самозванца Саша тщательно сличил с пьесой в сумароковской книжке и доложил: переписано с ошибками, иные строки пропущены, а в чем смысл возни – неясно. Самозванец в одной пьесе – злодей из злодеев, и вымарывая не вымарывая явные глупости – лучше он от того не сделается. Вся крамола – пока в том, что тетрадка была подобрана на месте драки с негодяями, устроившими покушение на обер-полицмейстера. Но доказать, что именно они обронули, никто бы не мог. А загадочный обездвиженный немец, лишенный речи, все лежал в архаровском особняке и не помирал. Дворня за ним ходила, даже кормить кое-как умудрялись, дед-костоправ, присланный Марфой, как-то шевелил ему шею, но на поправку пока не шло. Матвей мрачно пророчил, что немец так и останется навеки живой колодой с глазами.

Судя по тому, что никто не присылал на Лубянку «явочной» о пропаже родственника, это был человек нездешний – чем и подтверждалась мысль Шварца о голштинцах, застрявших в Санкт-Петербурге, прискакавших в Москву и готовых на пакости.

Архаров и Шварц совместно допросили Кондратия Барыгина, и он показал: Брокдорфа или человека, весьма с ним сходного, видел спозаранку на Знаменке, неподалеку от дома князя Горелова-копыта. Был голштинцем одет просто, в коричневый кафтан, поверх него имел епанчу черную, на голове шляпу без плюмажа, под епанчой прятал баул. То ли приехал откуда, то ли уезжал куда – а проследить не было времени, Кондратий спешил на службу. Узнавали на заставах – человека с такой фамилией там не отмечено. Или уехал тайно, или скрывается где-то в Москве, а Москва велика – и давних знакомцев у него тут немало.

– Горелов? – спросил Архаров.

– Господин князь в своих владениях не появлялся, – отвечал Шварц.

– Точно ли?

Шварц задумался.

– Где-то ж он пребывать изволит, не в лесу же скитается.

– А статочно, в столицу укатил. Там у него родня есть – после такого реприманда, каков был наш налет на Кожевники, наилучшее решение – спрятаться за родней.

– И то верно.

Шварц поглядел н Архарова – но упоминания о другой знатной особе, приближенной к французским шулерам, не дождался.

Тут в кабинет заглянул Захар Иванов и доложил, что у крыльца толчется девчонка, боится войти, а бывши спрошена, сказала, что у нее письмо к господину обер-полицмейстеру, отдавать же кому иному не захотела.

Архаров чувствовал, что засиделся в кабинете, встал и отправился сам продышаться на свежий воздух. Захар накинуд ему на плечи синюю шубу, Архаров собрал ее спереди руками и вышел на крыльцо.

– Ты, что ли, с письмом? – спросил он девчонку лет четырнадцати, в короткой шубейке, обмотанную поверх шалью. – Давай сюда.

Принимая сложенную бумажку, поглядел на румяное личико внимательнее и одобрил – Марфа явно имела на девочку особые виды, может статься, через год к нему же и приведет как-нибудь поздним вечером – снять сливки...

– Вашей милости... – прошептала девчонка.

– Знаешь меня?

– А как же, вы к Марфе Ивановне бывали...

– Ну, ступай.

Записка была проста – Марфа звала к себе или же была готова сама прибыть на Лубянку, только не явно, а лучше всего – ближе к ночи.

– Что это она затеяла? – спросил сам себя Архаров и поспешил обратно в кабинет. Время встречи его озадачило – коли Марфа помнила свое обещание подумать об осведомителях, входящих в богатые дома, коли чего-то изобрела, то для чего ж совещаться об этом ночью?

Что Марфа затеяла – выяснилось четыре часа спустя, когда он самолично к ней приехал на извозчине и в тулупе, снятом с Тимофея. При нем был для охраны один лишь Федька Савин.

– Что ты за таинственности разводишь? – спросил Архаров Марфу, встретившую в сенях.

– А то и развожу... Вон, глянь, сударь...

Марфа привела его в горницу и показала на кучу добра, сваленную прямо на полу. Была там в основном мягкая рухлядь – шубы, шапки, платья, узлы какие-то, баулы.

– Что сие значит? – спросил Архаров, тыча пальцем. Он даже тулупа скидывать не стал, да и Марфа не предложила – стало быть, не до церемоний.

– А то и значит, что ночью ко мне гости были. Спросили, я ли под ручной заклад деньги даю. Спрашиваю – кто послал. Отпирай, говорят, не то красного петуха подпустим.

– И отперла? – удивился Архаров.

– Так я ж не с голыми руками, вон что у меня для таких проказников имеется.

На подоконнике лежали два пистолета.

– Иван Иваныча покойного подарение?

– И стрелять он же выучил. Я-то шаль – на плечи, а руки с пистолетиками-то – под шалью! Хрен чего поймешь!

– И стрельнула бы?

– Так уж доводилось... Да я не о том. Сдается, навели этих гостей на меня люди знающие... – тут Марфа несколько смутилась.

Молчание затянулось Архаров его не нарушал – ему было любопытно, чтобы Марфа сама призналась в своем давешнем грехе, скупке краденого добра. Только тем и объяснялась ее отвага – ей посулили немалую кучу, и она вздумала рискнуть.

– Да сказывай уж, – устав ждать, велел он. – Да покороче.

– Вот тебе, сударь, покороче. У тебя под носом налетчики завелись. Как водится, на Стромынке. А добрались уж до Черкизова, там честной народ грабят. И вырезают всех подчистую – чтоб и концы в воду. И седоков, и ямщиков – всех...

– Ч-черт...

– А дуван девать некуда. Вот – ко мне приволокли. И ночью сулились еще привезти. Я и забеспокоилась – не шастает ли кто у моего двора. Потому тебя и звала тайно. Чтоб, как от меня пойдут...

– А добро тебе останется?

– В вознаграждение, – и тут Марфа, с удивительной точностью передразнив Шварца, добавила: – Добродетель должна быть вознаграждаема!

– Нижний подвал по тебе плачет, – отсмеявшись, сказал Архаров. – Федька! Сюда, живо! Будем разбираться.

– Да чего тут разбираться. Кровяные пятна я и сама тебе покажу – с убитых все снято. А вот еще укладка – в ней мы и без Федьки все переберем...

Федька, однако, уже был в горнице, остановился у дверей и с любопытством глядел – что будет дальше. Архаров не сомневался, что этот орел подслушивал его разговор с Марфой – больно задорно блестя темные глаза.

Марфа открыла укладку и вывалила на стол перстеньки, браслеты, табакерки.

– Вон с вензелем, – показала она карманные часы. – Может, кто бы и опознал.

Архаров, разгребая кучку, неловким движением скинул несколько побрякушек на пол, Федька кинулся поднимать.

– Ваша милость! – вдруг воскликнул он. – Гляньте-ка!

– Чего тебе?

Федька, выпрямившись и шагнув к Архарову, едва не сбил его с ног.

– Да вот же – не узнаете? Господи Иисусе – точно не узнаете?!

На ладони у него лежал овальный медальон, в обрамлении золотых завитков Архаров увидел лицо, словно выглядывавшее из глубокого сумрака. Это было совсем юное женское лицо, на нежных губах – полуулыбка, в черных глазах – печаль, на груди – большая трубчатая прясть пушистых темных волос до самого кружева, обрамляющего вырез розового платья. И вишневая ленточка, чтобы при нужде вешать на шею, оборвана...

Архаров узнал лицо и приоткрыл рот. Затем глянул на Федьку – тот, возбужденный до крайности, только и ждал этого взгляда.

– Тучков его вернул Шестуновой? – спросил Архаров.

– Не знаю, ваша милость! Что он к госпоже Шестуновой ездил госпожу Пухову навещать – знаю, а портрет...

– То есть, портрет мог быть или у госпожи Шестуновой, или у этого вертопраха. Марфа! Что твои налетчики говорили? Где они его взяли? – Архаров протянул миниатюру Марфе.

– Да откуда ж мне знать! Мне все кучей сюда свалили, ночью добавят... Да что ты, сударь, так на меня уставился? Нешто я тебя сама не позвала?!

– Не вопи, – оборвал ее Архаров. – Федя, беги, поймай извозчика. Марфиных гостей так надобно встретить, чтобы ни один не ушел. Беги, беги!

Федька выскочил за дверь.

Вот уж чего он не ожидал тут увидеть – так это лица Вареньки Пуховой.

Он пробежал Ершовским переулком, выскочил во Псковской, понесся, озираясь – не катят ли сзади извозчицьи сани, выскочил на Варварку, а вместо мыслей в голове была сплошная сумятица.

А ведь как он всю осень пытался вытравить из себя эту беду...

Опомнился Федька уже неподалеку от Лубянки. Он озирался, махал руками извозчикам, которые его не могли видеть, но начисто забыл, зачем ему нужны сани. Когда вспомнил – встал в пень, тяжело дыша.

Варенька!..

Что ж это такое творится, Господи помилуй?..

Когда Федька на извозчике примчался за Архаровым, тот был уже сильно недоволен – ждал, не снимая тулупа, и прождал немало. И с Марфой даже успел поругаться, припоминая ее былые грехи и грозясь покарать за скупку краденого. Марфа решительно отбrehивалась.

Архаров поехал на Лубянку, по дороге досталось всем – и Федьке, и извозчику, и подвернушемуся у дверей Яшке-Скесу. Яшка успел увернуться и дал деру.

Архаров вошел в кабинет, сбросил на пол Тимофеев тулуп, велел звать архаровцев. Первым вошел Клаварош. Он сегодня весь день проболтался на Лубянке: хозяйка французской модной лавки принесла «явочную» – соседские дворовые ее обокрали. Изложить подробностей по-русски она не умела, допрос доверили Клаварошу, и это дельце затянулось. Но в ходе допроса многое показалось Клаварошу странным, он послал Харитошку-Ямана с Максимкой-поповичем поспрашивать соседей. И к возвращению Архарова француз отпустил свою соотечественницу, ругая ее на родном наречии в хвост и в гриву за вранье и поклеп.

– Вот что, братцы, сей ночью у нас – засада, – сказал Архаров, когда все собрались в кабинете. – Демка, Степа, Ушаков, Федька... Федьки не вижу.

И точно – в кабинете его не было.

– Ну, отведаст он сегодня батогов, – решил Архаров. – Попарно отправляйтесь к Марфе, забирайтесь к ней во все каморы и сараи. Степан, Захарка – во дворе напротив засесть с ружьями. Клашка, ко мне на Пречистенку – чтоб Сенька мой двое саней снарядил, и ты же с теми санями будешь наготове в Ершовском переулке, знаешь, где угол срезан...

Он помолчал, соображая – а не отправиться ли с архаровцами самому. Вроде не полагалось – тех двух-трех налетчиков, что привезут к Марфе награбленное, могли взять и без него, однако...

– Взять голубчиков живьем, – добавил он. – Как пойдут от Марфы прочь. Тимофей, ты за старшего. У тебя все есть – и ружья, и сани, чтоб при нужде догнать. Упустите – с тебя спрос. Пошли вон все...

Архаровцы вымелись из кабинета.

За окном была тревожная зима. Слыханое ли дело – и в медленном густом снегопаде была какая-то опасная неторопливость. Он застигал законный мир, не давая разглядеть даже купола церквей, не то что лица прохожих. Архаров подошел к печке погреть руки. Он устал от кабинета, устал от долгих и умных разговоров с Волконским, устал от напряжения, которое волей-неволей срывал на своих. Волконскому хорошо – старец, одна голова у него и осталась, а архаровское тело измаялось, взывало – пошевелиться-то дайте! А попробуй пошевелиться – в другой раз не промахнутся...

Архаров медленно сжал кулаки. Вспомнил конфузию – как шлепнулся, как его из рыхлого снега поднимали. А все треклятые валенки! Слишком рано стал себя беречь, холить и лелеять ноги, не допуская к ним холода. Нет, подумал он, не дело – еще и тридцати двух нет... в армию, что ли, попроситься? Там-то с тельца жирок сгонят!

Вспомнил сухощавого верткого Александра Васильевича. В армию!.. Да кто отпустит?..

И тут же по необъяснимому зигзагу мысли вспомнил Дуньку – как живую, вспомнил ее смех, и как задремала, подвалившись под бочок...

А вот когда от Дуньки ловкая мысль сделала вольт и переметнулась на совсем другое женское лицо, Архаров уже весь подобрался и сказал: не-ет, матушка, давай-ка на попятный! Нечего тебе в тех эмпиреях болтаться.

Вздумав изгнать из себя тоску самыми решительными мерами, он вышел из кабинета – послать кого-нибудь на Пречистенку за полушубком. И тут же нос к носу столкнулся с Федькой.

– Ваша милость, никого их там нет! – выпалил Федька. – Они как с лета уехали, так не возвращались, а соседи сказывали, будто не в Киев вовсе!..

– Кто? Кого нет?! – спросил недовольный Архаров. – Где тебя, черта, носило?!

– Я к госпоже Шестуновой... на Воздвиженку, извозчика брал... Сказывали, они в Киев собирались, и оттуда – к теплomu морю... так нет же...

Федька тяжело дышал, как будто с Лубянки на Воздвиженку и обратно бегом несея. И смотрел – глаза в глаза, подчиненному так неотрывно таращиться на свое начальство не положено.

– Кондратий тебя там с батогами дожидается, – полушутя пригрозил Архаров, но Федька словно не слышал.

– Ваша милость, коли они не к морю отправились, так куда ж?..

Архаров понял – теперь этого орла хоть под батоги клади, хоть на дыбу вздергивай, боли не почувствует. Экое служебное рвение, подумал он, самовольно помчался разбираться, где хозяйка медальона! И в который уж раз за эту зиму поймал себя на зависти – ему так мчаться, лететь, тяжело дышать от нетерпения уже, поди, не дано...

– Вот ведь дурень, – рассудительно сказал Федьке Архаров. – Война там, чего им туда ездить. Я чай, поехали в Санкт-Петербург, там сели на корабль, поплыли во Францию, оттуда в Италию...

Федька задумался.

– Стало быть, портрет у господина Тучкова остался? – спросил он.

– Ступай к Тимофею, он тебе дело даст. Он сегодня за главного, – ответил Архаров и, внезапно остыв, вернулся в кабинет.

Что, в самом деле, означал этот медальон среди грабительского дувана?

Если разгильдяй Тучков вернул его, как собирался, старой княжне и ее воспитаннице – то каким чертом он оказался на Стромьнке? Опять же, если вышеупомянутый Тучков зачем-то оставил его себе, никому про то не доложив, – как безделушка попала в дуван налетчиков? Тучков-то из Москвы поехал в Санкт-Петербург...

Так и не ответив на эти вопросы, Архаров принялся ждать ночи. Сперва все никак не темнело, потом голубой сумрак за окнами держался дольше обыкновенного. Стали вспыхивать фонари на столбах – им предстояло гореть до полуночи, а далее обывателям было велено ходить со своими фонарями. Абросимов, стоя перед столом, докладывал о каких-то изысканиях, поочередно выкладывая на столешницу бумаги. Архаров тоскливо глядел мимо них. Фонари казались сквозь оконное стекло тусклыми шариками.

Тимофей со своей командой уже двинулись к Зарядью. Когда в церквях окончится служба, народ на недолгое время заполнит улицы, а потом уж они сделаются совсем пустынными. Стало быть, за это время и надобно архаровцам занять свои места – при народе-то налетчики к Марфе на двор подавно не сунутся, да еще с полными санями добычи. Потом же начнется ожидание.

Марфа сама немного поняла про тех налетчиков, да еще явно врала – не может быть, чтобы не знала, кто к ней их направил. Но особо на нее наседать Архаров не хотел – после небольшой стычки решил отступить. Иначе вдругорядь не пришлет девчонку с запиской. Опять же – обещала помочь с ценными осведомителями. Стало быть, двое или трое... на худой конец – четверо явятся ночью... Полицейские справятся. И, с Божьей помощью, никого не упустят – если им не придется беспокоиться о своем начальстве...

Нечего Архарову путаться в ногах у архаровцев.

Но так ведь и помереть от нетерпения недолго!

– Клаварош! – заорал Архаров. И понеслось по коридору: «Клавароша к его милости... к его милости!..»

Да, ему не терпелось сунуть медальон под нос пленнику и задать наиглавнейший вопрос: откуда взяли? Сразу это сделать невозможно. Сидеть на Лубянке до утра? Или сидеть до утра на Пречистенке, гоняя Никодимку с кофейником? Чушь! Околесица!

Клаварош заглянул в дверь.

– Заходи, – велел Архаров. – Сейчас поедешь ко мне за моим полушубком, тебе Меркурий Иванович даст. Вернешься... да... Поезжай.

Этот полушубок был еще из Санкт-Петербурга привезен. Солдат на плацу гонять в длинной шубе или в широкой епанче – нелепо. Этак и ружейного приема толком не покажешь. А в Москве ему редко находилось применение. Вот, пожалуй, этим вечером...

Архаров стал ходить по кабинету, сильно сам собой недовольный. Покойный дед определил бы это состояние так: аки недоенная корова... И в очередной раз проснулась зависть – к немолодому, но худощавому, подвижному, длинноногому Клаварошу, этот и до семидесяти годов будет носиться, как молодой...

Завистливый выдался февраль, будь он неладен!

А почему Архарова несет самолично среди ночи руководить засадой? А потому, что, не желая себе в этом признаваться, сильно забеспокоился о молодом разгильдяе Тучкове. Хорошо бы оказалось, что он проиграл портретик в карты кому-то из армейцев, а тот повез добычу в Казань и был ограблен по дороге...

Доводы рассудка были посланы к черту. Незадолго до полуночи Архаров с Клаварошем прибыли на Варварку. Клаварош, опытный кучер, правил лошадей, Архаров сидел в небольших санках, с удовольствия ощущая то, что в иную пору почитал неприятностью: как давит шею ременная петля, в которую вложен пистолет.

Клаварош хотел свернуть в Псковский переулок, Архаров удержал его. Совсем ни к чему было видеть особняк Ховриных. Тогда Клаварош свернул в Малый Знаменский и выехал в Большой Знаменский. До Марфы было недалеко...

– Стой, – приказал Архаров, прислушиваясь. И тут же грянул выстрел, за ним еще. Палили из ружей – стало быть, Тимофеева команда взялась за работу.

Архаров быстро привстал в санях, держась за Клаварошево плечо. Среди отдаленных голосов он пытался уловить скрип полозьев по снегу, это означало бы – налетчикам удалось вывернуться.

И был скрип, и глухой топот копыт по утоптанному снегу, и ругань несусветная вслед!

Клаварош, не дожидаясь приказа, ударил лошадь вожжами по крупу – и свершилось чудо!

Одновременно вылетели на перекресток архаровские санки и другие – разбойничьи, огромные. Клаварош заорал по-французски и хлестнул кнутом поперек лица кучера. Все смешалось, сани сцепились оглоблями, вскинулись на дыбки лошади, Архаров вовремя соскочил с заваливающихся санок.

Противник оказался прямо перед ним, и обер-полицмейстер, не имея ни времени, ни пространства для тычка, ни для туза, ни даже для размашки, пустил в ход прием из арсенала стеношников – сшибку. Правильная сшибка, грудь в грудь, скорее служила зачином боя – бойцы, наскакивая трижды друг на друга, словно петухи, мерились силой. Тут же Архарову важно было уложить противника – хотя сразу и не удалось, противник отлетел и ухитрился удержаться на ногах. Однако время и пространство обер-полицмейстер этой сшибкой выиграл.

Когда подбежали полицейские, он уже стоял над поверженным в снег беглецом и деловито ощупывал кулак – хотя рука была в рукавице, но именно поэтому возникло ненужное скольжение и удар вышел нехорош.

– Имай его! – с таким воплем налетел на Архарова, не признав его, Демка, и был отброшен короткой отмашкой поперек груди.

– Орлы, сволочи! – сказал Архаров. – Упустили? Вот чуяло же мое сердце...

– Он в санях оставался, под полостью, не вылезал, – доложил Федька. – Не разглядели сразу, ваша милость... да парнишка же, куда бы он делся...

Архаровская жертва, когда подняли и снегом обтерли кровь с губ, оказалась мальцом пятнадцатилетним, об такого кулак марать даже зазорно.

– Прочие?

– У Марфы на дворе, повязаны, – доложил Демка, – Тимофей с одним матерым сцепился, тот на него с ножом... Клашка выстрелил...

– Ваша милость, они детскую одежку привезли! – перебил взволнованный Федька.

– Не галди. Пошли.

Оставив Клавароша распутывать упряжь и помогать лошадям, Архаров пошел к Марфину двору, не оборачиваясь, за ним вели парнишку. На душе было празднично. Он подтвердил свое звание командира, свою командирскую честь, которая, как он полагал, осталась несколько уязвленной после покушения на его жизнь.

Марфа вышла на крыльцо, рядом стояли инвалид Тетеркин и красивая девчонка.

– С меня причитается, Марфа Ивановна, – сказал, подходя, Архаров.

– От тебя, сударь, поди, дождешься!

– Да будет тебе злиться. Спать ступай, а мы этих голубчиков на Лубянку повезем.

Марфа усмехнулась.

– А ты ведь их не просто так сдала, – вдруг сказал Архаров. – Что-то тебе самой сильно не понравилось... А коли бы понравилось – молчала бы, моя голубушка. Ладно, Бог с тобой, вдругорядь поговорим.

Марфа пожала пышными плечами, повернулась и ушла в дом, девчонка – за ней, а инвалид Тетеркин остался, чтобы запереть за архаровцами ворота.

К Рязанскому подворью отправился целый обоз – впереди Архаров с Клаварошем, за ними большие сани налетчиков, замыкали двое саней с полицейскими.

Первым делом осмотрели кучу награбленного – чтобы понять, с кем имела дело шайка. Федька был прав – попались и окровавленные мальчишеские порточки, и рубашечки, и во множестве женское платье – небогатое, однако и не деревенское – со шнурованием. Но всего два мужских кафтана отыскали да несколько ливрей. То ли налетчики повезли мужское добро к другой скупщице, то ли и впрямь нападали лишь на беззащитных...

Архаров крепко задумался. Что за странные путешествия захолустных помещиц по Стромынке?

Полчаса спустя добычу со связанными за спиной руками впахнули в архаровский кабинет. Трое крепких мужиков и парнишка, не сговариваясь, бухнулись на колени.

– Нашли время, – буркнул Архаров. – Щербачев, писать изготавился? Яшка, пошел вон. Тимофей, отойди-ка, дай я на них гляну.

Глядеть, собственно, было не на что – почти одинаковые бородатые рожи, волосня всклокочена, близко подходить опасно – вшей бы не нахвататься, под нагольными тулупами оказались сермяжные длинные зипуны, вот разве что парнишка, которому и кнутом по лицу досталось, и тяжелым кулаком в челюсть, внушал некую надежду – не в пол глядел, как старшие, а даже поднял голову.

– Как звать? – вдруг спросил его Архаров.

– Терешкой...

– Чей таков?

– Ереминские мы, господина Курловского...

Не взглядом, нет – иным каким-то манером Архаров уловил то известное движение плеч, чуть-чуть вверх, на сотую долю вершка, особенно у крайнего, чья раненая рука была поверх

зипуна перетянута тряпицей, и вот что оно значило – старшие в ужасе от того, что парнишка сболтнул лишнего.

– Этих – убрать, – велел он, показывая на старших. – В подвале запереть, завтра пусть с ними Шварц разбирается. Демка! Тряпицу мокрую добудь, вытри детинке рожу...

Налетчиков вздернули на ноги, потащили из кабинета, и тут одного словно прорвало.

– Терешка, сука, блядин сын! – заорал мужик яростно. – Убью, заporю!..

С тем его и уволокли.

– Батька? – спросил Архаров.

– Дядька... – косясь на захлопнувшуюся дверь, отвечал Терешка.

– Ереминские, выходит... Женат, поди?

– Нет еще...

– А батька где?

Парнишка не ответил, только насупился. Да еще глянул... совсем нехорошо глянул...

Вошел Демка, нагнулся, протер ему лицо тряпицей. Теперь Архарову уже было удобно беседовать с коленопреклоненным пленником. Он встал напротив, как ему было привычно, расставив согнутые в коленях ноги и упершись в бедра кулаками.

– Ну, детинушка, отвечай прямо. Взят ты с поличным при продаже краденого, это грех, за него полагается наказание, – совсем по-простому объяснил Архаров. – Но коли ты честно, как на духу, все расскажешь, тебе выйдет послабление. А может, вовсе не накажут.

Терешка явно не хотел говорить. И это нежелание охватило его, когда Архаров спросил про батьку.

– Матка-то жива? Братья, сестры есть?

– Жива...

– А батька, стало быть, помер... – задумчиво произнес Архаров. – Ну, сирот мы жалеем, сирот – щадим... От чего помер-то?

На этот совершенно невинный вопрос он ответа не получил.

– Утонул, что ли? Да ты не молчи, отвечай.

– Утонул...

Это было первым успехом в допросе – парнишка соврал. Выходит, отцовская смерть была такова, что явно не понравилась бы полицейскому начальству.

– Давно утонул?

Терешка опять не ответил. Парню претило лгать. А правду говорить он, похоже, сильно боялся.

– Чего ты боишься? – спросил Архаров. – Дядьку под плети подвести? Так коли ты сейчас промолчишь, я тебя не трону – а его будут пороть, пока все не скажет. Так лучше, что ли? Все одно ведь доберемся, чем вы с ним промышляли. Да, тебя не тронем, хоть сейчас отпустим. А тех трех злодеев завтра поведут в нижний подвал к господину Шварцу, он умеет правду добывать. Демка! Гони этого голубчика в шею. Тимофей! Гляди, чтоб убрался с подворья! Выпроводите – всем спать. И я домой поеду. Федька, Клаварош, Захарка, Михей – со мной!

Архаров здраво рассудил: коли кто и выслеживает его, чтобы пристрелить, так вряд ли болтается по Москве по морозу в такое время суток. Не прибыл обер-полицмейстер, занятый каким-то розыском, на Пречистенку вовремя – и убийцы разбрелись по домам, не торчать же им в переулке до утра.

Он вышел на улицу, уже в своей шубе, большой, тяжелый, неспособный даже обернуться назад – шуба не позволяла. Перед ним Захар Иванов нес фонарь. Полночь давно миновала, и фонари, заботливо расставленные Архаровым по Москве, были погашены.

– Федя, приотстань и глянь-ка, парнишка не тут ли околачивается, – тихо велел Архаров. И полез в сани, а Михей укутал его медвежьей полостью. Клаварош принял от конюха Григория вожжи и кнут, сел на облучок, послал лошадь вперед шагом.

Федька приотстал – как бы по малой нужде. И, как бы от скромности, забился в тень. Оттуда и высмотрел Терешку. Тот, понятное дело, далеко от Рязанского подворья не ушел. Будучи спущен с крыльца, удалился на три десятка шагов и следил за дверьми с другой стороны улицы, почти слившись в своем нагольном тулупчике с серой каменной стеной здания.

Сани медленно удалялись к Охотному ряду.

Терешка отошел от стены и глядел вслед, явно не зная, что предпринять. Федька даже пожалел его – парнишка в чужом месте, один, скорее всего, без гроша за душой, а те, кто его сюда затащил, – в подвалах полицейской конторы.

А сани не напрасно движутся так медленно, лошадь еле перебирает ногами. Архаров ждет, чтобы догнали. И Михей, едучи на запятках, обернулся – не иначе, по приказу.

Федька пошел было к Терешке – но тот, заметив, отбежал в сторону. Тоже правильно – откуда ему знать, что это за молодец в распахнутом полушубке поверх синего мундира? И лица не разглядеть – Федька нарочно спрятался от слабого света из окошка, лежащего квадратами на утоптанном снегу.

Федька вышел туда, где был для Терешки виднее, и остановился, всем видом показывая – преследовать не собирается. Образовалось противостояние – Терешка не знал, как быть, да и Федька тоже, он все поглядывал на удаляющиеся архаровские сани, но торопить события боялся.

Наконец он очень медленно пошел к Терешке. Тот не уходил – только отступил на шаг.

– Не бойся, дуралей, – сказал ему Федька. – Господина Архарова чего бояться? Видишь – он тебя отпустил. Значит, вины за тобой не видит. Тебя старшие с собой потащили, дядька твой, как бишь его?

– Семеном...

– Ну вот, тебя дядька Семен с собой взял... – Федька мысленно взмолился Господу, чтобы послал ума. – Он, стало быть, и в ответе... Ты-то сам, поди, не налетчик? Ты проезжий люд не грабил?

Архаров, сидя в санях, мог радоваться – Федька тщательно ему подражал и так же вглядывался в лицо, так же, невзирая на мрак, ловил мельчайшие движения бровей, ресниц, свои дыхания...

– Грабил...

– Вот дуралей! Ну скажи ты мне, Христа ради, для чего ты на себя наговариваешь? – напустился на него Федька, уже вовсю проникшись жалостью к бездомному парнишке. – Коли сам господин Архаров тебя отпустил – то и вины твоей нет! Он виноватого на семь сажен сквозь землю видит! Дурак ты деревенский!..

Тут Федьку вроде как осенило. Терешка назвался крепостным некоего господина, чье прозвание выговорил совсем тихо, только Архаров и разобрал.

– Беглый ты, что ли? – спросил Федька. – Боишься, что к барину вернут? Да Господи! Пошли, я тебе все растолкую. Господин Архаров никого не выдает. Вот я знаешь кем до чумы был?

– До какой чумы? – спросил парнишка. И точно – был деревенский! Их тех краев, куда московские новости и не залетают...

– На Москве чума завелась, – увлекая его с собой вслед архаровским саням, начал Федька и довольно связно, более того – кратко рассказал о том, как из тюремных колодников вербовали мортусов. Повествование было увлекательным, Терешка сам не замечал, что шаг его ускоряется, и даже стал спрашивать – больше всего его обеспокоило убийство митрополита Амвросия в Донском монастыре. Федька, не догадавшись, нагнал страху – поведал, как сурово расправились с убийцами и их пособниками, чтобы наилучшим образом преподнести покровительство мортусам. И тут-то он собеседника потерял – не дождавшись описания казни, Терешка кинулся бежать.

Федька догнал его уже за Неглинкой. Парнишка не сообразил свернуть в сторону, а, может, побоялся – так и бежал прямо, размахивая руками, прекрасно заметный на свежеевыпавшем снегу.

Когда же он понял, что полицейский может его поймать, повернулся и встал в известную позу человека, вооруженного ножом, – тут уж Федьку было не провести! Он только запоздало удивился тому, что взрослых мужиков тщательно обыскали, а насчет парнишки – поленились, что ли?

– Брось нож, – сказал, подходя, Федька. – Брось, кому сказано?

Парнишка пятился, готовый обороняться. Федька же, как на грех, был безоружен. Одни пистолеты остались на Лубянке, другие укатили в архаровских санах.

А он знал, что загнанный в угол звереныш способен на опасные дурачества.

Архаров не старался силком вбить в подчиненных свои правила сыска. Кто-то понимал сам – Клаварош, к примеру. Кто-то, не разумея надобности вглядываться в лица, когда есть свидетели и улики, просто занимался не допросами, а иными делами – работы в полицейской конторе всем хватало. Федька не полагал себя сыщиком высокого полета – ему хотелось действовать, а право размышлять он предоставил Архарову так же доверчиво, как дитя предоставляет няньке право кормить себя и одевать.

Он не мог не видеть, как Архаров помогает ему понемногу карабкаться вверх. Равным образом он догадывался, что ему многое прощается – догадывался, уже учудив нечто неподходящее, а то и после ядовитых Демкиных шпилек. Но зависть пролетала мимо Федьки – сам он не был завистлив.

И вот настал час, когда нужно было действовать так, как действовал бы Архаров – если бы Архаров догнал и задержал беглеца.

Трое мужиков могли заготовить какое-то ловкое вранье и выдержать плети Шварцевых подручных, ни на шаг от него не отступая. А парнишка знал правду о их похождениях – недаром же прикрикнул на него тот зверообразный дядя.

На Лубянке уже родились свои легенды об остром взгляде обер-полицмейстера. Его методу Федька на словах знал, а применять на деле пока не умел, да и мало кто умел – метода была вне привычной логики, и трудно простому человеку упомянуть, который взгляд вверх или же вниз означает вранье. Архаров же знал это словно бы изначально.

Но Архаров был далеко, а Терешка с ножом – вон он, напротив.

Федька запоздало попытался встряхнуть в памяти беседу – когда, после каких слов этот детинка кинулся бежать? Толковали же о давних событиях, и Федька как раз хотел подвести к тому, что после того, как изловили убийц митрополита, Архаров отстоял своих помощников, не позволил вернуть их в тюрьму, не выдал!.. А он? Не дослушав, так и понесся прочь...

Чем его так ошарашило убийство митрополита?

– Брось нож, – повторял Федька. – Довольно дурачиться... брось, говорю...

Слова выговаривались языком сами, меж тем в голове, кажись, образовалась мысль, и мысль простая.

Терешка же беглый, так? И те трое – беглые.

Десятские постоянно ловят людей, передающих слухи о том, что крестьяне помещика – ну, скажем, господина Иванова, – с косами и вилами взяли штурмом барскую усадьбу, бар покروшили в капусту, а сами подались навстречу маркизу Пугачеву. Слухи крамольные, болтать о таких делах не велено, однако то и дело канцеляристы полицейской конторы записывают новые имена...

Нападение на митрополита Амвросия и его кончина взволновали Терешку, но не до такой степени, чтоб удирать. А вот наказание убийцам, три виселицы и воз розог, перепугали – как если бы он, натворив бед, лишь сейчас осознал меру ответственности.

Но он же ответил на вопрос, откуда таков взялся! И Архаров слышал его!

Вот потому-то он, поди, и беглый! И дядя его, угрюмые мужики, – тоже. Разгромили господский дом и, не зная, на что себя употребить, отправились колобродить на Стромынку...

Федька встал в пень – то ли бежать к начальству со своим открытием, то ли всеми силами задерживать Терешку.

В голове не было полной ясности, а язык меж тем действовал!

– Да будет тебе... Ты что ж, до утра так стоять собрался? Я же крикнуть могу – десятские понабегут, они тут ночью ходят по переулкам, ловят, коли кто без фонаря шатается... А, вишь, не кричу... спрячь нож-то...

Тут-то Терешка на него и кинулся.

Федька был и сильнее, и тяжелее, и опытнее. Он уклонился, перехватил руку с ножом, заломил, Терешка взвыл, выронил нож и забился, брыкаясь, снег так и летел из-под валенок.

– Всех вас, всех!.. Всех резать, всех!.. – выкрикнул он, уже падая на колени. – Ничего, небось, придет надежа-государь! Виселиц на всех хватит!..

– Ишь до чего договорился! – воскликнул огорченный Федька. – Молчал бы, дурак. А теперь и тебя придется в нижний подвал сдавать... Видать, и ты барскую усадьбу громил, барина с барчатами порешил. Эй! Караул! Сюда, ко мне!!!

Орал он довольно долго, Терешка меж тем грозился надежей-государем и обещал подпустить Рязанскому подворью красного петуха. Наконец прибежали двое десятских, несколько растерялись, признав в крикуне полицейского, и помогли Федьке связать парнишку. Общими усилиями его доставили обратно в полицейскую контору, заперли в конуре верхнего подвала, не развязывая, и Федька что было духу поспешил на Пречистенку – поймать в такое время извозчика он не рассчитывал.

В голове его возникали и рвались причудливые связи – как портрет Вареньки мог бы попасть в ту разгромленную усадьбу? Федька уже и до того додумался, что портретов было два. И до того, что в усадьбе жили ее подлинные родители, правду о коих так усердно скрывала старая княжна Шестунова.

Он прибыл, когда Архаров лег спать и на сон грядущий, уже туго соображая, слушал Сашу, уныло читавшего и тут же переводившего на русский французскую книжку.

Никодимка, понятное дело, не хотел пускать к их милостям Николаям Петровичам такого заполошного гостя, и явившийся в сени Меркурий Иванович, тоже вытащенный из постели, поддержал Никодимку.

– Да что вы, дурачье, в сыске смыслите?! – возмущался Федька. – Эти налетчики барина своего с семьей зарезали, усадьбу сдуру пожгли, пошли по большим дорогам шалить! Тут же, сразу, нужно команду полицейских драгун выслать! Всех в ружье! Тут же, рядом, в Черкизове!.. Портретик-то – из барского добра!..

Этой ночью в особняке остались Клаварош, Захар и Михей. Никодимка сбегал за ними в третье жилье, спустились Клаварош с Михеем и забрали к себе уставшего буянить Федьку.

Наутро он, не дожидаясь пробуждения Архарова, уже сидел под дверью спальни. Никодимка, торжественно шествующий с подносом, на котором возвышался серебряный кофейник с ароматным паром из носика, попросил его отворить дверь, но попытку прошмыгнуть пресек весьма громко и сердито.

Наконец Федька был допущен к начальству и пылко доложил свои соображения.

– Так, – сказал Архаров. – А теперь ступай в людскую, пуцай покормят.

Марфина логика теперь стала ему окончательно ясна: одно дело воры, другое беглые, кои перед тем, как сбиться в шайку, убили помещика и разграбили усадьбу. Коли изловят шайку, да при допросах всплывет ее имя – тут уж мало что поможет... лучше таких дорогих гостей самой сдать, хотя тоже непонятно – почему она сразу не высказала своих подозрений... да ведь и навел на нее кто-то этих разбойников, откуда бы деревенщине знать, кто на Москве промышляет порой скупкой краденого?..

Федька, несколько огорченный архаровским спокойствием, пошел было из спальни прочь, да у порога резко развернулся.

– А портрет, Ваша милость?! Как он-то к ним попал? Ведь коли его в разоренной усадьбе взяли, ваша милость?!.

– Пошел вон, – сказал Архаров. – И без твоих воплей башка пухнет.

Федька покорно вышел.

Он умом-разумом понимал, что Варенька Пухова никак не могла оказаться в той усадьбе. Ее хотели везти лечиться на юг, а уж никак не в село Стромынь...

И тут Федька едва не хлопнул себя по лбу.

Ведь именно в том направлении ездил Саша Коробов к какому-то деревенскому знахарю, умеющему поболее столичных докторов! Что, коли Вареньку с ее грудной болезнью туда же повезли? Московские старухи упрямы – они готовы скорее слушать юродивого, предрекающего всякую невятицу, чем врача, закончившего Петербургскую медицинскую школу. Что, коли такой юродивый вкупе с приживалками сбил с толку старую княжну Шестунову, и она отправилась с Варенькой к знахарю?

В людской за длинным столом сидели Клаварош, Захар и Михей, ели кашу, рядом крутились все красавицы архаровской дворни – прачки Настасья и Дарья, поварская дочка Иринка, «черная» кухарка Аксинья. Федька сел с краю, ему тут же навалили в миску пшенки с постным маслом, отрезали хороший ломоть хлеба, а уж посолил он сам. И со всех сторон стали уговаривать есть поболее, не стесняться, потому что добавки не жалко – барин велел давать архаровцам добавки вволю.

Архаров заявился вниз при полном параде – выбрит до младенческой нежности щек, бубли ровненько загнуты, волосья сверху чуть приподняты, как теперь модно, и припудрены, пудра еще не успела осыпаться на богатый зеленый кафтан.

– Готовы? Поехали, – сказал он. – Федя, сядешь со мной, все толком доложишь.

Федька просиял и вскочил, смахнув пустую миску на пол.

В санях он изложил свои выводы, особенно напирая на только что изобретенного знахаря. Архаров слушал внимательно – он сам не раз беседовал с Сашей о необычных методах этого старца, и одним даже сильно заинтересовался – это было чепучинское сидение. Хворого помещали в бочку, набитую распаренным разнотравьем, и в бане хорошенько прогревали. Саша не раз и не два проходил курс такого лечения, а насчет величины бочки как-то все уворачивался. Архаров, хотевший установить подходящую для себя посудину в собственной бане, всякий раз оказывался вовлечен в какие-то посторонние рассуждения. Очевидно, Саша боялся, что начальство, севши по-турецки, не поместится и в четырехпудовую кадь для зерна – если только знал, неисправимый книжник, о существовании такой кади.

– Не так уж глупо, – сказал Архаров, когда уж подъезжали к Лубянке. – Сейчас продиктую письмо, поедешь к драгунским казармам, спросишь майора Сидорова – знаешь такого?

– Как не знать!

– Отдашь ему. И сам с ним отправишься, понял?

Это была награда из наград!

Федька онемел, глядя на командира влюбленными глазами.

Пожалуй, на Лубянке только старик Дементьев не знал, что Федька Савин последний умишко растерял из-за Вареньки Пуховой. Сперва посмеивались, потом перестали – видели, что товарищу тяжело. Кто Варенька и кто Федька? У нее в Санкт-Петербурге, родители, может, графы и князья, а он – полицейский, просто полицейский, до офицерского звания ему, может, вовеки не дотянуться. А без офицерского звания нет дворянства, а без дворянства его и на порог не пустят...

Федька даже старался не проходить лишнего раза по Воздвиженке, где жила старая княжна Шестунова, чтобы не смущать душу. Однако хворь не проходила, Варенька все снилась и снилась, и, наверно, именно потому, что была совершенно недостижима.

Знал про эту беду и Архаров.

Он вовсе не собирался посылать кого-либо из архаровцев с полицейскими драгунами на Стромынку. Им и в Москве дела хватало. Решение родилось вдруг – и он, отдав приказание, ощутил легкую зависть к Федьке. Федька открыто впал в бессловесный восторг – Архарову же такое свойство не было дано. Все свои радости и горести он держал глубоко внутри, на волю не выпускал – да и куда выпускать, на эту каменную физиономию?

Его бы самого кто этак наградил...

Но, шуганув из головы глупые мысли, как птичница пугает воробьев, норвящих целой тучей опуститься на корм, брошенный курам, Архаров вдруг забеспокоился. Федька горяч, не натворил бы чего – а натворить он может, коли по дороге из-за нетерпения своего поспорит с драгунами. Кого-то следовало еще отправить – уже для обуздания Федьки.

Тимофея нельзя – Тимофей нужен в Москве. Его спокойствие, в чем-то сродни архаровскому, уж очень хорошо действовало на мазуриков и крикунов, постоянных гостей Рязанского подворья. Чувствовалось, что этот крепкий мужик так же спокойно единым тычком все зубы виноватому выбьет и не поморщится. Чувствовалось и другое – этому не соврешь, он через такое прошел, что любого вруна вмиг раскусит.

И Демку нельзя – Демка уйдет на два дня, переодевшись у Шварца в чулане совершеннейшей чучелой, а вернется с точными сведениями: где искать столовое серебро, похищенное у князя Эн. Теперь же, когда идет такая охота за возможными лазутчиками самозванца, Демка особенно необходим.

Степана Канзафарова разве?

Тоже опасно – Федька его живо с толку собьет, коли речь о спасении бывшей невесты его покойного хозяина.

Архаров перебрал в уме едва ли не всех архаровцев, и получалось, что либо человек ему в Москве самому нужен, либо человек с Федькиной страстной натурой не управится.

Приехав, он сразу велел подать к себе запись начавшегося ночью допроса, и Устин внятно прочитал по ней, что четверо пленников все – ереминские, господина Курловского.

– Где у нас Еремино? – спросил Архаров. – И кто такой Курловский?

Устин пожал плечами.

И точно – кто их знает всех, этих мелкопоместных господ, владельцев дюжины крепостных душ, проживающих в двух сотнях верст от трактов, весной и осенью – совершенно недостижимых из-за распутицы, являющихся в Москву или в Санкт-Петербург раз в десять лет, в дворянских мундирах времен государыни Анны, привозящих дочек на выданье и недорослей, приписанных к полкам. Еремино – может, селцо в десять почерневших изб, соломенные крыши которых к весне наполовину разобраны, потому что нечем кормить скотину. А может – богатое село, с барской усадьбой, окруженной парком, со своими промыслами... нет, вряд ли. Зачем бы мужикам, хорошо живущим, резать господ?

Это до Архарова никак не доходило.

Он задумался.

Думал Архаров недолго – первая же мысль оказалась весьма разумной.

– Демку ко мне! – заорал он. – Макарку, Максимку! Живо!

После чего усмехнулся обычной своей малопривлекательной улыбкой, от которой Устин всегда ежился, и сказал противным тоненьким голоском:

– Так-то, голубчики мои... не увернетесь...

* * *

Незадолго до Рождества Дунька затеяла учить французский язык.

Она знала уже немало слов по отдельности и всю ими пользовалась, доводя своего сожителя до хохота, завершавшегося порой икотой. Она не хуже петербургской щеголихи пересыпала свой московский бойкий говорок такими прелестями, как «ридикюль», «решпектовать», «плезир» или «ваперы». Но ей хотелось блистать всерьез – и она через Марфу упростила Клавароша написать ей тетрадку со всякими изречениями, чтобы вставлять их к месту.

Клаварош не был великим грамотеем. Ворча, он взялся за перо. Всей тетрадки не исписал – а сказал Марфе, что с Дуньки и трех страниц за глаза довольно, вряд ли придворные щеголихи в Санкт-Петербурге знают более. Как оказалось, он был прав.

Дальше началось сущее мучение. Клаварош писал по-французски, а Дунька и русские-то буквы лишь недавно принялась разбирать. Пришлось условиться с девицей из модной лавки – она, принося ленты и кружева на дом, читала Клаварошевы истины вслух, а Дунька старательно повторяла, копируя ее выговор.

Иные звуки ей не давались вовсе.

– Тон ель ди уи, куан та буш ди ном!

Девица закатывала глаза к потолку и всем видом показывала, что близка к обмороку.

– Тон оль ди ви, кван та буш ди нон! – поправлялась Дунька.

Так и бились над одной парижской остротой по получасу и более. Причем Дунька даже не всегда могла бы перевести на русский это свое заимствованное остроумие.

Господин Захаров, услышав как-то из ее уст очередное изречение, произнес эпigramму, насчет смысла коей Дунька долго ломала голову: похвалил или же унизил? Звучала эпigramма так:

*Что дал Гораций, занял у француза —
О сколь собою бедна моя муза!
Да верна — ума хоть пределы узки,
Что взял по-галльски — заплатил по-русски!*

На всякий случай Дунька решила ее заучить.

В ее сознании эпigramма как-то увязывалась с Терезой Фонтанж. Был в ней некий потаенный смысл. Ничего, ничего, внушала себе Дунька, хоть французский, хоть китайский язык выучу, хоть на клавикордах, хоть на арфе брэнчать буду, а уж на театре и подавно тебя пере-щеголяю – и то, что ты сделала на свой парижский лад, я перешибу на русский лад!

Произведя определенные маневры и дождавшись такого визита сожителя, что он и в хорошем настроении приехал, и успешно совершил все необходимое для своего и Дунькиного удовольствия, она преподнесла историю о встрече с госпожой Тарантеевой и о приглашении бывшей хозяйки. И приласкалась, и устроила целое представление. В бытность свою при актерке Дунька немало нахваталась стихов, исполняемых на театре – при том, что видела хорошо если две пьесы. Заучила она их с хозяйкина голоса и, по природной своей переимчивости, замечательно копировала актрису.

Актриса предпочитала куски из таких пьес, где доводилось ей исполнять главную роль – они и поболее были, и по чувству – трагичнее. Скажем, в «Корионе» господина Фонвизина, что шел на московском театре незадолго до чумы, она играла благородную любовницу Зенобию. И даром, что «Корион» – комедия, а для Зенобии были написаны весьма возвышенные речи, которым полагалось бы вышибать слезу из простодушного зрителя. Госпожа Тарантеева даже

утверждала, будто ей сие удавалось. Дунька же была не из слезливых, и размеренные возвышенные тирады, оснащенные рифмами, на нее имели мало влияния.

Не впервые она их употребляла, чтобы насмешить покровителя – не понимая, впрочем, от чего он заходится таким младенческим хохотом, но исправно пользуясь диковинным средством. Особенно когда что-то в доме делалось не по ее уму или же возникали ничем, по ее мнению, не оправданные запреты.

– Какое варварство еще ты предпримаешь? – вопрошала она, прижимая руку к груди на актерский манер. – Какие лютости ты мне przygotowujesz? Что слышу от тебя? Жестокий, утужи смущение моей прискорбной души!

После чего все варварство с лютостями вместе немедленно оказывались забыты.

Гаврила Павлович сам увлекся идеей вывести свою мартону на подмостки и даже пообещал оплатить ее театральные гардероб, буде дойдет до премьер и дебютов. Так что на святки Дунька, встретясь в лавке мадам Буше (Лелуарше она отныне всячески показывала свое презрение) с Маланьей Григорьевной, сказала, что сожитель про театр и слушать не желает, а сама она твердо решила попытать счастья.

Накануне Сретенья госпожа Тарантеева прислала Дуньке записку, где и когда будет ее ждать с санями. Дунька во избежание неприятностей показала записку сожителю и, получив его согласие, принялась собираться.

Ей очень хотелось затмить нарядом актерку, и все утро она вертелась перед зеркалом, совсем загоняв Агашку. Переменяла великое множество лент самых благородных оттенков. Наконец в условный час Дунька вышла из дома и поспешила к Ильинским воротам. Бежать было недалеко, Маланья Григорьевна уже ждала ее в санках, приветствовала бурно – невзирая на мороз, расцеловала в обе щеки. Дунька села в санки – и замелькали люди, замелькали дома...

– Маланья Григорьевна, матушка, что-то мы не в ту сторону едем! – вдруг сообразила Дунька. – Лефортово не там...

– А мы не в Лефортово. Тот господин, что театр заводит, на Сретенке хороший дом снял, меня туда со всем добром перевезли. Вот, живем... и, Фаншета, не поверишь, как муж с женой живем, я впервые в жизни, поди, мужские чулки сама постирала!

Сей подвиг был для актерки до того забавен, что она рассмеялась.

– Теперь-то у нас слуги, и живу я – как генеральша, – Маланья Григорьевна усмехнулась и повторила это прекрасное слово, как бы с намеком на свое замечательное будущее: – Генеральша...

– Сретенка – это славно, – согласилась Дунька, прикинув, что туда и добираться будет проще, и при нужде легче найти извозчика, чем на краю света в Лефортове.

Миновав Сретенские ворота, сани проехали еще немного и повернули направо, встали у хорошего каменного дома.

– Приехали, душенька, – сказала Маланья Григорьевна. – Тут мы и поселились. Идем скорее!

Привратник, следивший за улицей из окошка, распахнул им двери, они вошли в теплые сени, где горел огонь в не малом камине, и госпожа Тарантеева повела Дуньку в свои новые апартаменты – хвалиться мебелью и нарядами.

– А сожителя покажешь? – спросила Дунька.

– Кабы дома был – показала бы. Съехал со двора, без меня собирался, гляжу... сейчас девку кликну, что за свинство...

В спальне на полу лежал белый чулок немалого размера.

Госпожа Тарантеева дернула за шнурок, соединенный с незримым колокольчиком где-то в глубине дома – звона Дунька не услышала, – и тут же стала доставать браслеты, застегивать их на тонкой ручке, показывать, сколь красиво блещут камушки. Девка все не шла.

Дунька уж думала, что эта похвальба никогда не кончится, однако актриса воистину всей душой принадлежала не любовникам, а театру, и, закрыв укладку с побрякушками, достала из щегольского бюро тетради с ролями и томики напечатанных в типографии пьес.

– Теперь господина Фонвизина «Бригадир» в большой моде, в частных домах аматеры вовсю играют, – сказала актриса. – Я видела – и Боже упаси! Ни благородных чувств, ни монолога приличного! Смех от того, что персоны на сцене – те же, что всякий день то в модной лавке, то в гостях видишь. Там и играть-то нечего – что Советница, что Бригадирша... перездразнить дуру-щеголиху или московскую просвиру, вот и вся игра. Сие на сцене не приживется, ты уж мне, душа моя, поверь.

– А что приживется? – полюбопытствовала Дунька.

– А то же, что всегда образованные зрители любили, – благородная трагедия в стихах. Давай попробуем сцену из «Хорева», – предложила госпожа Тарантеева. – Мою любимую. Там есть чувства, которые можно показать, и движения души, там героиня что ни слово – меняется, то манит к себе любовника, то отталкивает, в такой роли можно блистать! Пойдем в гостиную, там и посветлее, и попросторнее. Я буду читать за Оснельду, а ты – за Хорева.

– За кого? – не поняла Дунька.

– Хорев – любовник Оснельдин. Да не удивляйся, душенька, на домашних театрах вечно то мужчины женские роли играют, то дамы кавалерами рядятся. Ты не слыхала, как при покойной государыне кадеты сумароковские комедии представляли? У них усы пробиваются вовсю, а они девиц изображают, вот была государыне потеха! Начнем же?

– Начнем! – отважно сказала Дунька.

Понимая, что всю сцену объяснения новоявленной актерке не осилить, Маланья Григорьевна взяла один кусок – тот, где у Оснельды слов много, а у Хорева – мало, семь стихотворных строк. Дунька прочитала их по тетрадке раза три, каждый раз – все лучше, и была уж готова изображать пылкого любовника.

Госпожа Тарантеева встала посреди гостиной в позу – рука протянула вперед, взгляд не отрывается от кисти, плечи развернуты вполоборота к воображаемому зрителю, – и заговорила торжественно, нараспев, стараясь наполнить речь трагической Оснельды самыми возвышенными чувствами:

*– Ах, князь, к чему уж то, что я тебе мила?
К чему тебе желать, чтоб я склонна была?
Не мучь меня, не мучь, не извлекай слез реки;
Уж больше не видать тебе меня вовеки.
Когда тебе судьба претит меня любить,
Старайся ты меня из сердца истребить.*

Дунька зазевалась, и актерке пришлось довольно долго стоять окаменевши, пока она вспомнила слова и произнесла их, точно так же протянув руку и с тем же трагическим чувством в голосе:

*– Коль любишь, так скажи, исполнь мое желанье;
Пускай останется хотя воспоминанье!*

И далее последовали пылкие слова Маланьи-Оснельды, сопровождаемые заученными движениями рук, которые Дунька, глядя на нее, невольно повторяла:

*– Люблю... Доволен ли? Поди из глаз моих,
Оставь меня в тоске, останься в мыслях сих,*

Я все вздыхания свои напрасно трачу...

И далее Маланья Григорьевна убеждала Дуньку-Хорева искать иной любви, обещая вспоминать избранника по гроб жизни, и непременно со слезами.

Дуньке в ответ полагалось разразиться громкими пенями и призывами, но ничего из этой затеи не вышло: ей показались смешны собственные крики, и она невольно рассмеялась. Госпожа Тарантеева тоже не выдержала.

Начали сцену Оснельды с Хоревом заново. Вышло чуть получше. Но, когда у Дуньки уже стало получаться сносно, не выдержала госпожа Тарантеева.

– Вещаешь о любви ты только мне маня, – упрекнула Дунька-Хорев Маланью Григорьевну, причем впервые ей удалось передать смысл слов: по-простому Хорев говорил Оснельде, что она лишь приманивает его беседами о любви, а подлинного амурного доказательства страсти все нет и нет.

– Как я тебя люблю, люби ты так меня, – пылко произнесла актерка и совсем по-девичьи зажала смешливый рот рукой.

– Фаншета, сие немисливо! Как гляну на твое декольте – так тут же хохот разбирает!

– Как же быть? – деловито спросила Дунька. Она понимала, что мало похожа в своем фишбейном, широко растопыренном платье и с грудью, открытой до самой ложбинки, на древнерусского князя Хорева, однако как одевался Хорев – понятия не имела.

– А вот как – нарядим тебя кавалером!

– А у вас найдется во что?

– Найдется! Жди меня там! – и актерка без дальнейших объяснений поспешила из гостиной прочь.

Дунька пошла, куда велено, – вернулась в уютную спальню с альковом и дорогими мебелью. Белого чулка на полу уже не было. Но она про это и забыла.

Наконец-то Дунька могла повнимательнее разглядеть трехногий туалетный столик. Он весь, и столешница, и гнутые бока, был инкрустирован разноцветными древесными кусочками, причем занимательно – издали казалось, будто бока составлены из махоньких кубиков и на ощупь угловаты, вблизи же Дунька увидела, что это – лишь искусно составленные плоские ромбы. Выше столик был опоясан несложным завитковым узором, и далее опять шли фальшивые кубики. А для описания его формы у Дуньки и слов-то не нашлось бы – нечто округло-волнистое, однако весьма щегольское!

Столик стоял у стены, Дунька подошла совсем близко, сколько позволяла пышная юбка, и присела на корточки, чтобы разглядеть устройство боковых дверок, – со всех ли они сторон и как запираются. Тут-то она и услышала голоса.

Один был громче, другой – тише, но оба – одинаково невнятные, и Дунька, напрягая слух, даже расстроилась – да глохнет она, что ли, раз не в силах ни словечка разобрать! Вдруг прозвучало «Либер готт», и до Дуньки наконец дошло – незримые мужчины ругались по-немецки.

Немецкий язык был на Москве не в диковинку. Там еще тех немцев потомки жили, что были наняты государем Алексеем Михайловичем, когда он затевал свои солдатские полки нового строя. Иные обрусели, иные, роднясь между собой, сохранили прозвания и речь. А сколько их при государе Петре Алексеевиче понаехало? А при государыне Анне Иоанновне? Только Елизавета Петровна, более склонная к французским затеям, как-то поприжала немцев. Так что Дунька кое-какие немецкие слова знала изначально. В том числе и ругательные.

Мужчины по этой части не скупались – и проклятыми псами друг друга честили, и дерьмо поминали, но вдруг один явственно выговорил: «Ваше сиятельство!» В обращении была некая непонятная Дуньке издевка, далее опять шли немецкие слова, и опять язвительное «ваше сиятельство», и опять дерьмо, которое на немецком произносилось с мерзким змеиным

шипом. Причем очень скоро Дунька поняла: молодой ругатель знает немецкий язык не очень-то хорошо, спотыкается, зато для старого он – родной.

Вмешался женский голос с какими-то расспросами. Женщине отвечал тот из мужчин, что постарше, кратко и весьма сердито. Дунька поняла – это, скорее всего, девка либо домоправительница, получила нагоняй и пропала.

Станным показалось, что госпожа Тарантеева так тесно сошлась с немцами.

Обернувшись на дверь и держа ушки на макушке, Дунька пошла обследовать постель и нашла под подушкой мужской ночной колпак. Это ей мало о чем говорило, колпаки зимой носят почти все, хотелось отыскать нечто особенное. Дунька заглянула под кровать и вытащила оттуда предмет, хорошо ей известный.

Эта была одинокая ватная накладка на голень, которую закладывают в чулок мужчины с тощими икрами.

Маланья Григорьевна не врала – она доподлинно жила с мужчиной, мужчина этот был немец и почему-то от гостей прятался.

Тут издали затрещали каблучки госпожи Тарантеевой – Дунька успела лишь сунуть накладки под подушку, к колпаку. Актерка влетела в спальню, таща в охапке ярко-голубой кафтан, розовый камзол в цветочек, треуголку, штаны и даже шпагу.

Распустив Дуньке шнурование, Маланья Григорьевна помогла ей выбраться из тяжелого темно-зеленого платья и стала учить, как надевать мужской наряд. Башмачки Дунька оставила свои, чулки и нижнюю сорочку – тоже, влезла в штаны по колено, актерка застегнула их внизу и наверху, потом был надет камзол, который не сошелся на груди, и поверх него – кафтан, даже шпагу привесили.

Коли бы приводить Дуньку в истинно кавалерский вид, то следовало бы подобрать ей волосы, загнуть по обе стороны лица неизбежные букли, а длинную косу, туго заплетя и перехватив у основания шелковым бантом, сложить чуть ли не вчетверо и упрятать в черный замшевый кошелек – иные господа носили косы в кошельках, иные – так, но в Дунькином случае волосы следовало спрятать.

Однако и без того много времени потратили на переодевание. Поэтому Маланья Григорьевна просто нахлобучила Дуньку на голову треуголку, сдвинув ее лихо набекрень. И тут же Дунька поспешила к зеркалу.

Из стеклянного овала, обрамленного бронзовыми завитками с листьями и плодами, на нее глядел бойкий круглолицый паж, темноглазый и румяный, правда, малость курносый, но все равно прехорошенький.

– Ах, мужчина! – воскликнула, жеманясь, Маланья Григорьевна, играя подхваченным с бюро голландским расписным веером, как будто он был необходимой принадлежностью древнерусской княжны. – Ты бесподобный болванчик! Притащи себя ко мне! Я до тебя ужасная охотница!

Веер полностью распахнулся, что означало: ты мой кумир навеки!

– Сударыня, ты делаешь в голове моей вертиж! – понизив голос, чтобы вышло по-мужски, отвечала на чудном наречии щеголих и петиметров Дунька, и обе покатались со смеху.

Стали играть сцену сначала, и оказалось – не только госпоже Тарантеевой, но и самой Дуньке от этого переодевания гораздо легче. Она уже до того освоилась, что при словах «Княжна, останься здесь!» шагнула к актерке и преклонила колено.

– Ах, Фаншета, душенька! – прервав игру, сказала на это Маланья Григорьевна. – Кабы далее Оснельда к Хореву снизошла, то можно бы и на коленках играть. Но она же его отвергает! И в который миг ему тогда с коленок встать?

Дунька поднялась, оправила на себе кафтан и снова втихомолку погляделась в зеркало.

Она ожидала увидеть там себя, но вместо того ей явился совсем другой кавалер – не в голубом, а в пюсовом кафтане, без треуголки, стоявший в соседней комнате и наблюдавший за двумя актерками в полупритворенную дверь.

Госпожа Тарантеева продолжала разьяснять, когда и почему Хореву подходить к Оснелде, после каких слов отступать, но Дуньке уже было любопытно другое – что там за кавалер?

Она, в свое время раздевавшая актерку ко сну и одевавшая ее поутру, помогавшая наводить красоту, знала – подлинной красавицей Маланья Григорьевна не была никогда. Она была тонка в талии и бедрах – это верно, Дунька втихомолку примеряла ее шнурованье и огорчалась – не получалось стянуться до такой умопомрачительной степени. Кроме того, госпожа Тарантеева почти не имела бюста и всячески изображала его присутствие при помощи ватных подушечек и пышных кружевных косынок. Когда она была одета – еще полбеды, но не всегда же одетой ходить-то станешь! Еще – она совершенно была лишена природного румянца.

По естественной женской мудрости, Дунька искала и находила у актерки недостатки в тех областях, где самой ей было чем щегольнуть. Сухие и жестковатые светлые волосы Маланьи Григорьевны, хотя и имели склонность виться, не выдерживали сравнения с Дунькиной русой косой. Грудь же у Дуньки к двадцати годам выросла и развилась такая, что господин Захаров всякий раз наделял ее иными комплиментами, сравнивая и с лебяжьим пухом, и с первым снежком, и с мраморными чашами, и чего только не придумывал. Правда, у Дуньки было более плотное сложение, крепкие и сильные ноги, не такой воздушной стройности, как у актерки, однако плясать она умела не хуже.

Опять же – глаза! У Маланьи Григорьевны они были светлые, ресницы с бровями также светлые, у Дуньки – темные, с длинными ресницами, и брови – ровненько дугой.

Но главное – годы. По Дунькиному разумению, актерке было тридцать три или тридцать четыре, возраст почтенный, иная мать, вовремя отдав замуж старшую дочь, в тридцать четыре уже и бабкой становится. Так как же изящный кавалер, которому на вид не более двадцати пяти лет, может не только быть любовником Маланьи Григорьевны, но и щедрым любовником, снявшим такой дом, подарившим ей платья и драгоценности? Разве ему более любить некого?

Задав себе этот вопрос, Дунька тут же нашла и ответ: он ведь немец, а кто их, немцев, разберет, как у них заведено? Вот помер булочник Шульман, и его вдова Матильда Петровна вышла замуж за пекаря Ганса, он же – Ванька-рыжий, под этим именем известный зарядским девкам. Так вдове было сорок, а Гансу – двадцать семь, и прекрасно живут! И печево у них хуже не стало, и ребеночка завели. Может им всем – бабу в годах подавай?

Опять же – ноги. Дуньга знала, что у молодых щеголей с тонким станом ноги порой встречаются прежалкие – словно две палки. И приходится как-то придавать им прелести, для чего созданы ватные накладки. Выходит, красавчик у нас – с изъяном?

Не имея в виду ничего плохого, не собираясь отбивать у бывшей хозяйки красавчика, а воистину невзначай Дунька стала, поглядывая в зеркало, поворачиваться к полупритворенной двери наиболее удачным для себя способом и красиво выставлять ножку – разворачивая ступню и гордясь высоким подъемом.

Красивый кавалер в соседнем помещении не уходил – глядел исподтишка и слушал стихотворные речи. Это было забавно – чего же он желает? И чуточку будоражило душу – ведь кавалер был молод и строен. Некстати вспомнился Архаров...

Вот уж кто не стал бы стоять за дверью, слушая сумароковские вирши! Плюнул бы да и ушел.

Архаров нравиться не мог. Именно поэтому он вызвал у Дуньки острую жалость. Она представила себе, каково ему живется – такому, ей сделалось не по себе, и непостижимым образом проснулась щедрость души. Бабья щедрость, понятно, однако другой Дуньке взять было неоткуда. К тому же, она просто не посмела бы быть неблагодарной – Богородица, которой

Дунька постоянно ставила свечи, не простила бы ей этого греха. Вот все и увязалось в узелок, тугой такой узелок, ни ногтями, ни зубами не развязать...

А кавалер там, в глубине нарядной комнаты, был тонок, изящен, прельстителен и недоступен.

Не может быть, чтобы он только что ругался по-немецки. И того менее – чтобы его, красавчика, ругали.

Однако накладки... ох, как они портили дело, эти накладки! Каково ж ему, бедняжке, раздеваться-то, подумала Дунька, или он прямо в чулках заберется под одеяло?

– Ах, князь, к чему уж то, что я тебе мила? – заново повела речь о любви Маланья Григорьевна.

Завершив, она протянула руку к Дуньке, приглашая ее ответить.

Очевидно, в Дунькиной душе спала-таки актриса – и вот она проснулась!

Дунька сделала два шага – вроде бы к госпоже Тарантеевой, а на самом деле – так, чтобы встать лицом к полупритворенной двери, куда и послала слова благородного любовника:

– *Коль любишь, так скажи, исполнь мое желание!*
Пускай останется хотя воспоминанье!

Маланья Григорьевна, прекрасно знавшая все эти актерские штучки, тут же раскусила проказу.

– Люблю... Доволен ли? Поди из глаз моих, – произнесла она, как бы в расстройстве чувств, однако весьма повелительно и адресуясь к той же двери. – Ах, душенька Фаншета, до чего же тут несносно сквозит!

И, подойдя к двери, тщательно ее закрыла.

Тут уж Дуньку совсем проняло любопытство. Не мог сей стройный кавалер быть любовником актрисы! Вернее – любовником-то, может, и сделался в хмельную ночь, а вот покровителем – это уж заведомо нет! Хотя в немецких галантностях Дунька не разбиралась, но в сердце вскипело не понять что, замешанное не только, видать, на бабьем озорстве и упрямстве...

Мысленно призвав на помощь Марфу, Дунька довела до конца амурную сцену и, отвлекая внимание Маланьи Григорьевны, принялась расспрашивать, кто таковы Оснельда и Хорев, с чего бы им расставаться, коли любовь столь велика, и повенчаются ли они в конце концов.

Дунька и актриса уселись на длинное, о восьми гнутых ножках, канапе с мягкой спинкой, на которой были вытканы цветы и посередке, в обложенном тесьмой медальоне, вышита мелким крестиком амурная пара под развесистой яблоней, может статься, даже Адам и Ева, только Адам – в розовом французском кафтане, при шпажонке, а Ева в бюрюзовом фишбейном платье с отчаянным шнурованьем. И госпожа Тарантеева пожаловалась – в трагедии «Хорев» есть что играть, там и переходы чувств, и томление, и слабость, и гордость – все имеется. В той же трагедии, главную роль в коей ей предстоит вскорости исполнить, такого разнообразия нет – героиня, Ксения, любит жениха Георгия, предана отцу, дает возможный отпор другому жениху, непрощенному, и все это столь же одинаково, как если бы отдавала распоряжения дворовым девкам насчет соления огурцов и выбивания перин, одно умничанье без всякой страсти. Госпоже Тарантеевой же охота была сыграть именно затейливые выкрутасы любовной страсти.

Дунька стала осторожно допытываться, когда задумано открыть новый театр, да что еще затеяли сыграть, да нельзя ли все же поставить «Хорева», и обнаружила, что Маланья Григорьевна сама много не знает – коли не врет. Но при этом мало беспокоится о грядущем. То бишь, ведет себя как особа, уверенная в своем сожителе, – или же играет ролю такой особы безукоризненно и с подходящим случаю куражем.

Разговор затянулся, пробили часы – и Дунька схватилась за щеки. Ей уже давно следовало вернуться домой. Как ни хотелось взглянуть на господина, взявшего на себя заботу о Маланье Григорьевне.

Желая примчаться на Ильинку так, чтобы изумленный Гаврила Павлович только руками развел и окончательно уверовал в ее актерский карьер, она засуетилась, заахала, всячески показывая, как боится рассердить сожителя, напомнила кстати, что отправилась в гости без спросу. И добила своего – умчалась прочь в кавалерском наряде, даже при шпаге! Госпожа Тарантеева едва успела собрать в узел ее зеленое нарядное платье. А уж во что обратились модные ленты – Дунька и подумать боялась.

Отъезжая, она кинула взгляд на окна – ну, где же ты, загадочный кавалер, хоть взглядом проводи! И дала себе слово, вернувшись, докопаться до правды – кто таков, немец ли, или иного племени, кем при Маланье Григорьевне состои, он ли или не он носит фальшивые икры! Театральная интрига ожила, стала притягательна наимоверно, и Дунька ощутила, что теперь-то живет истинной, полнокровной, галантной жизнью.

И метелица принеслась кстати – радостная метелица, такая, что душенька веселится, дыша вздохом, и тут же кстати – бубенчик под дугой, лучше всякой музыки передающий ощущение полета.

Санки неслись по Сретенке, укутанная по уши Дунька безмерно радовалась встрече с покровителем – то-то порадует, глядя на стройные крепкие ножки! без накладок! а уж кожа-то под чулочками – живой атлас!.. – и совершенно не ведала, что сзади катят другие санки, запряженные крупным вороным мерином, а в них сидит, по самый нос упрятавшись в воротник дорогой шубы, тот самый красавчик, что любовался на нее из-за двери.

И велит кучеру держаться подальше, чтобы не заметили, а сам все глядит, глядит вслед Дунькиным санкам, и черные его брови сдвинуты, и верхняя губа приподнята, словно бы от азарта погони – но мало приятного в белозубом оскале...

* * *

Терешку вывели из каморки, где он был заперт, даже не проверив, точно ли его руки связаны. Парнишка беззвучно поблагодарил Богородицу – за ночь он перетер веревку об острый угол стены, но сбрасывать ее не стал.

Поднявшись по лестнице, он увидел в коридоре родственника – но не дядьку Семена, а дядьку Григория. Тот стоял у стены, охраняемый двумя полицейскими. Дядька чуть повернул набыченную голову, взглядом смерил племянника. Их поставили рядом, и тут один их полицейских отошел.

– Там – двери, – прошептал дядька. Племянник кивнул. Побег был так же невозможен, как вознесение живьем на небеса, но, коли хорошенько помолиться Богородице – она поможет спастись в жестокой беде.

Вдруг где-то наверху раздался выстрел, крики, полицейский опрометью кинулся на шум – и тут-то Терешка показал себя! Скинув веревки, он дернул дядьку за рукав и побежал к дверям. Кто-то метнулся наперерез, но Терешка увернулся. Дядька топал следом – и они вдвоем выскочили на улицу, чуть не рухнув с крыльца.

– Стой! Стой! Имай мазуриков! – неслоь вслед, но они уже бежали, задыхась от морозного воздуха и от счастья. Они мало что соображали – все душевные и телесные силы взял у них этот бег. У них только хватило ума тут же кинуться в переулок, но он был перегорожен большими санями, тогда они побежали к другому, и свернули, и снова свернули, и влетели в третий, загибающийся крюком. Там они заскочили в какой-то пустой двор, пробежали насквозь, протиснулись за сарай – и тогда лишь остановились, сопя.

– Ну, милостив Бог, – еле выговорил дядька Григорий. – Уцелели... Свечу пудовую поставлю...

– Выбираться надобно поскорее, – сказал Терешка.

– Распутай-ка... – дядька, еле помещаясь в узкой щели, повернулся к племяннику спиной, и тот, опустившись на колено, зубами расслабил и распустил узел. Потом они перелезли через забор и с другого двора вышли на неизвестную улицу. Впрочем, для них в Москве все улицы были неизвестными.

– Куда теперь-то? – грубо спросил Терешка. Он был зол на дядьев, втравивших его в эту опасную затею.

– А Бог его знает, куда-нибудь подальше...

Они торопливо дошли до ближайшего храма – где бы хоть чуток отогреться. Морозец был не сильный, но чувствительный, они же выскочили с Лубянки, как сидели в подвале, – в одних зипунах, без тулупов.

А вот парнишка, тепло и ладно одетый, в тот храм, высившийся на холме, за ними не последовал, хотя шел сзади довольно долго. Он дождался старшего – по виду из пропившихся фабричных, обменялся с ним двумя-тремя словами и отошел в сторонку. Старший же, от коего за версту разило перегаром, чумазый, в драной бабьей шубе с полуоборванным рукавом, в картузе такого вида, будто им печную трубу прочищали, решительно вошел в храм, быстро крестясь и покачиваясь при этом, как оно и положено пьющему человеку.

Ждать парнишке пришлось недолго – вскоре вышли все трое, два деревенских в туго подпоясанных зипунах и фабричный, все вместе куда-то направились, причем фабричный пытался затянуть песню и даже пойти вприсядку. Деревенские наконец подхватили его с двух сторон под локотки и ускорили шаг. Все-таки было морозно. Но им, даже с такой обременительной ношей, шагалось легко – улица вела под гору.

Парнишка прошел следом шагов с полтысячи, потом повернул направо и побежал, что было мочи.

Годы его были таковы, что только бегать да бегать, и он довольно скоро оказался у дверей Рязанского подворья.

В здании полицейской конторы его уже ждали и тут же препроводили в кабинет обер-полицмейстера. Тот сидел за столом, рядом стоял Шварц.

– Что, Макарка? – спросил Архаров. – Докуда довел?

– До Владимирского храма, ваша милость. Там передал Демьяну Наумовичу. Он их в «Негасимку» повел, там они до ночи отсидаются.

– Хорошо. Карл Иванович, давай свой пряник.

Пряник был чинно вручен с известными словами о вознаграждаемой добродетели, и парнишку выставили из кабинета.

– Говорил я тебе, что они не скоро сознаются, – сказал Архаров Шварцу. – А эти беглецы нас вернее на шайку наведут и на то сельцо, как бишь его... Еремино.

– Сколько мне известно русское наречие, сельцо может носить и иное имя, – возразил Шварц. – В бумагах говорится – преступник сказался ереминским крестьянином, но он мог произвести сие слово от названия Ереминское, или же Ерема, или же Еремовка...

– Да Бог с ним, Карл Иванович. В ночь на Стромьнку выедут конные драгуны, с ними Федька. Встреча у них с Костемаровым назначена за Яузой, у кумы.

Кумой он называл полушутя старуху, которая за небольшие деньги порой предоставляла половину своего домишки для нужд архаровцев.

– Не попытались бы они от Костемарова избавиться, – сказал Шварц. – Должность свою исполнит, из Москвы их выведет – и более он им не надобен.

– И попытаются, – согласился Архаров, – дело житейское. Да только Демка не лыком шит, у него с собой такой нож – быка завалить можно. Опять же, Федька будет поблизости, он с драгунами поедет, присмотрит за товарищем.

– Хорошо бы послать еще человека, который присмотрит за Федором, – заметил Шварц.

– Да я уж и сам думал, вдвоем Федька с Демкой могут не справиться... Клавароша разве? Он француза сильно уважает...

Позвали Клавароша.

Француз совершенно не желал вылезать из теплого здания и ехать непонятно куда с конными драгунами. Это у него прямо-таки на роже было написано. Тем более – неведомо, когда вернешься.

К тому же у Клавароша была милая особенность – он всегда очень заботился о своем здоровье. Этим его и держала Марфа, превосходная стряпуха. Правда, все ее разносолы дородности французу не прибавляли. Если бы так питался Архаров – пришлось бы в Рязанском подворье косяки выламывать, двери расширять. А Клаварош при любом гастрономическом буйстве оставался тощ и подвижен. Это несколько раздражало обер-полицмейстера, особенно в последнее время. Ну что ж тут поделать – у Архарова выдалась завистливая зима.

Потому он с особым удовольствием заявил, что Клаварошу будет весьма полезно перейти временно на иной рацион – чтобы служба медом не казалась.

Клаварош что-то буркнул по-французски и вышел из кабинета.

В дверях он столкнулся со Степаном Канзафаровым, который вел к Архарову невысокого толстого человека с седеющей бородой венником и приметной плешью – двойной. Один островок голой кожи был спереди, другой – на затылке.

Войдя, человек перекрестился на образ Николая-угодника, а затем поклонился в пояс.

– Кто таков? – спросил Архаров Степана.

– Трактирщик он, ваша милость, с Пресни, не впервые сведения доставляет. А теперь у него такое, что лишь вашей милости хочет доложить, мне не сказывает...

– Хорошо, ступай... нет. Останься.

Архарову вдруг пришло на ум, что злодей, желающий смерти обер-полицмейстера, будет действовать именно так – попросится в кабинет, клянясь, что желает с глазу на глаз поверить наиважнейший секрет.

Трактирщик подошел поближе к столу и заговорил весьма отчетливо, голосом, который вырабатывается, когда надобно им покрыть шум целого кабака.

– Ваше сиятельство, бунтовщик у меня завелся! Кричит против матушки государыни, грозит ее покарать за бесчинства. И все такими словами страшными!

– Ну так укажи его Степану, заберут твоего бунтовщика, – несколько удивившись, отвечал Архаров. – Нешто ты не знаешь, как это делается?

– Ваше сиятельство, бунтовщик-то не простой! Звезда у него!

– Какая еще звезда?

– А мне почем знать? Вот тут, слева, звезда приколоты о многих лучах, сверкучая, большая.

– Орден, что ли?

– Может, и орден, а мы по-простому звездой зовем. Вот такая... – трактирщик показал пальцами размер чуть ли не в три вершка. – Приходит в неделю два-три раза, выпьет, начинает выкликать, людишки тут же вокруг него собираются... Мне почем знать, кто таков и чего добивается? Может, граф или князь, коли со звездой?

– Граф или князь при орденах в кабак ходить не станет, – вмешался Шварц.

– Так, ваше сиятельство! – обратился трактирщик к немцу. – Для того-то он, может, и приходит со звездой, чтобы к нему более почтения! А слушают охотно!

Архаров и Шварц переглянулись.

– Звезда поддельная, сударь, – уверенно сказал Шварц. – Не станет никто, имеющий подлинную, с ней по пресненским кабакам странствовать...

– Год назад – не стал бы, – возразил Архаров. – А что, дядя, этот звездоносец где-то поблизости проживает, не знаешь?

– Может, и поблизости, приходит по-домашнему одетый. Тесть мой, поди, знал, да помер, а я там третий месяц всего, раньше в Замоскворечье с моей Федотовной жил. Как тесть расхворался – он нас вытребовал...

– По-домашнему, но со звездой? И крамольные речи произносит? – уточнил Архаров. – Ну, что ты забеспокоился, хотел непосредственно мне донести – за это хвалю. Сейчас пойдете со Степаном вместе, посади его в кабаке своем неприметно, чтобы он всех видел, а его – никто, и покажи ему своего крикуна.

– Коли сим вечером он ко мне будет, ваше сиятельство.

– Канзафаров, докопайся. Теперь ступайте.

Трактирщик, имя коего Архаров позабыл спросить, и Степан вышли за дверь.

– Любопытный крикун, – заметил Шварц. – Коли ко мне вопросов нет, пойду-ка я вниз.

– Как те двое?

– Молчат или же выражаются неудобь сказуемо.

– Во всем запираются?

– Во всем. Вакула это так зовет – закаменели в грехах. А он уж двадцать лет этим ремеслом занимается.

– Не сказали даже, кто их на Марфу навел?

– Ваша милость, для чего бы вам у самой Марфы не спросить? – осведомился Шварц. – Пусть бы сказала, чье имя они ей назвали, когда первый воз добра привезли. С чужими бы она дела иметь не стала, а только по рекомендации...

– Спрашивал, Карл Иванович. Запирается хуже всякого злодея. Не на дыбу ж ее поднимать. И подумай, вот что странно – они пришли с рекомендацией, и она их приняла, а потом – тут же нам выдала. Что сие может значить?

– Когда впустила да добро от них приняла, провела нечто такое, что ее мысли переменяло.

– Или же по какому-то знаку поняла, что эти налетчики к ней для того и посланы, чтобы их выдать, – задумчиво сказал Архаров. – Поди знай все Марфины давние тайные уговоры... Кто-то нам таким подарком кланяется и дорожку в полицейскую контору торит... потому и не будем пока Марфу трогать...

Это умпостроение показалось Шварцу избыточно сложным, но он промолчал, поклонился и вышел.

– Абросимов! – крикнул Архаров. По коридорам понеслось: «Абросимова зовут! Абросимова!...»

Подчиненный прибыл не один, а с Устином Петровым. Они при помощи десятских произвели обыск в комнате некоего домашнего учителя, живущего в дворянской семье, и Архаров хотел знать результаты.

– Ничего значительного, ваша милость, – доложил Абросимов. – Сдается мне, это был поклеп, домашние божатся, что никакой крамолы учитель не говорил. Человек в годах, тихий... Вот только книжки давал людям читать, а говорить – не говорил... Их мы, которые нашли, отобрали.

– А что за книжки?

Устин имел при себе корзинку с изытым добром.

– Вот чего сыскали, ваша милость, – сказал он, беря оттуда верхнюю, пухлую книжицу, из коей торчали бумажки.

– Читай, – велел Архаров.

– Все, ваша милость?

– Кусок из середины.

Левушка толковал как-то, что ему достаточно, открыв книгу наугад, страницу прочесть – и полное представление об авторе навеки получить. Чего ж не попробовать.

Устин открыл книжицу там, где заложена была первая бумажка.

– Да тут подчеркнуто чернилами, – сообщил он и прочитал: – «Наша премудрая обладательница печется о домостроительстве, но домостроительство помещичье есть яд империи, когда оно только единого помещика обогащает».

– Яд империи? Хватит. Чье сочинение?

Устин глянул на потертую обложку.

– «Трудолюбивая пчела», господина Сумарокова журнал. Старый уже, ваша милость.

– Выходит, нарочно для того сохранялся, чтобы крамолу к нужному сроку приберечь. Оставь корзину. Сашка разберется. Ступайте... – и тут Архаров вспомнил, что фамилию «Сумароков» секретарь не так давно поминал, то ли все, то ли не все...

Что-то было связано с Клашкой Ивановым...

Мысль пошла писать вензеля – тут же выплыл в памяти Захар Иванов, потащил за собой почему-то Сергея Ушакова, за Ушаковым явились лица солдат-инвалидов, которых Волконский рекомендовал к использованию в качестве осведомителей...

И, наконец, ошастливила Архарова радостная рожа Федьки – сперва в воображении, и ровно секунду спустя – просунувшись в дверь.

– Ты чего тут околачиваешься? – спросил Архаров.

– Ваша милость, мы ближе к ночи с драгунами выезжаем, может, я тут нужен?

– Ступай, без тебя справимся. Поспи, коли можешь, ночью, поди, не придется, – ничуть не удивленный таким рвением, отвечал Архаров. Вот коли бы Абросимов его проявил – Архаров бы ушам не поверил. А Федька, натура пылкая и деятельная, не мог поступить иначе.

Вот таков он был – не делая того, что приказано, делал нечто иное, и Архаров, примерно дважды в месяц грозясь батогами, все Федьке прощал. Он слишком хорошо помнил, как Федька, повинувшись мгновенному порыву души, кинулся спасти его от уличного торговца с зачумленным товаром.

Свою драку с Федькой тоже, кстати, помнил...

Дверь распахнулась, на пороге явился возмущенный старик Дементьев.

– Не до тебя, старинушка, не до тебя! – тут же торопливо воскликнул Архаров.

– Вот, вот! – канцелярист показал издали бумаги, явно принадлежащие Устинову перу. – Сил моих больше нет! Души моей погубитель! Из-за него в пост скоромные слова говорю! Ведь пишет правильно, когда прикрикнешь! Умеет правильно писать! Все бумаги – на один лад, а этот марак – начнет во здравие, кончит за упокой!..

Федька, зажав рот ладонью, кинулся прочь. Эта канцелярская склока неизменно приводила его в веселое расположение духа – охая и держась за стенку, хохотал до слез.

Он налетел на огорченного Устина, похлопал его по плечу; не дожидаясь благодарности, кинулся дальше; едва не сбил с ног Вакулу, который в кои-то веки вылез среди дня из нижнего подвала – словом, гуляла Федькина душа, веселилась в предчувствии опасного рейда по Стромынке.

Он побежал в канцелярию, где стояли напольные часы, и убедился, что времени осталось довольно много. Спать он, понятное дело, не стал – какой сон, когда душа уже несется по следу заветного медальона? В конце концов он повстречал сильно недовольного Клавароша и долго не мог уразуметь: что же такого неприятного в совместной вылазке с полицейскими драгунами.

Клаварош, прекрасно понимавший все архаровские маневры, объяснил.

– Выходит, из-за меня, бестолкового, тебе в Черкизово тащиться? – переспросил озадаченный Федька. – Ну так вот те крест! Я от драгун ни на шаг не отойду! А ты сиди дома! Не бойсь, не выдам!

Клаварош только рукой махнул.

– Ты у Марфы отсидись. Я вернусь – все тебе обскажу, вот те крест – обскажу! Марфа тебя так спрячет – с собаками не найдут!

Клаварош вздохнул, помянул по-французски дьявола и пошел прочь.

Федька пожал плечами – вроде, сделал все, что мог. И тут же задумался – полезут ли его теплые валенки в стремяна драгунского коня? Это была серьезная задача – и он тут же поспешил к драгунским казармам решать ее. Драгуны посмеялись – мысль о том, чтобы цеплять к валенкам шпоры, порядочно их развлекала. Тут же подпоручик Иконников, которому было велено возглавить драгунскую партию, крикнул денщика, тот куда-то сбежал и приволок огромные сапожищи, стачанные столь ловко, что хорошогодились для обеих ног, правой и левой. Под них следовало наматывать толстые онучи, и Иконников побожился, что сам так ездит и ничего – ноги не мерзнут. Зато от драгунской епанчи Федька отказался наотрез. На марше оно, может, и ничего, но ему потом – спешиваться и вести наблюдение, куда-то лазить, куда-то, возможно, и ползти. Решил остаться в полушубке.

– Да и на марше зимой плохо, – втихомолку признались ему драгуны. – Все теплое, сколько есть, под мундиры поддеваем. Кавалерия-то мы кавалерия, а вон гусары в такую пору по зимним квартирам сидят, греются, или же там воют, где снега нет... В Петербурге и не подумают, что нам в любой мороз по сигналу выступать...

Когда уже все были готовы и подпоручик Иконников, сидя в седле, давал приказ строиться, прибыл на извозчике злой Клаварош, которого Федька с драгунами даже не сразу признали – он был в полушубке с чужого плеча, и весьма широкого плеча, более того – хозяин полушубка был широк в талии и в заду. Однако сидела эта одежда отменно – из чего все заключили, что француз поддел под низ и теплый суконный кафтан, и меховой жилет, и что-то вовсе непредсказуемое. Кроме того, он тоже где-то раздобыл сапоги неимоверной величины, однако нога в них не гуляла – чувствовалось, что на ногах не щегольские чулки, а портянки, намотанные во много слоев.

Федька даже догадался, где снабдили француза новым обмундированием, а догадался по неожиданному предмету – за кушак был заткнут охотничий арапник. Кучерское прошлое Клавароша давало о себе знать – он не раз спускался в нижний подвал побеседовать с кнUTOбойцами об орудиях их ремесла. Арапник попал на Лубянку случайно, и хозяйственный Шварц тут же определил его в свой чуланчик с маскарадными принадлежностями. Это было хорошее для драки оружие – в опытных руках, разумеется. Толстое кнUTOвище в две пядени длиной имело на одном конце петлю – вешать на руку, а завершалось ремнем немногим более аршина. Кроме того, в рукоятку была вделана свинцовая шишка. Клаварош здраво рассудил, что в этом рейде арапник может пригодиться, хотя и клинком не пренебрег – ножны виднелись из-под его огромного полушубка.

Француз молчал и дулся до тех самых пор, как, выехав из Земляного города и миновав Сокольники, не пересекли Язу. Теперь уж до покосившегося домишка «кумы» оставалось совсем немного, опять же – стемнело, и Федька, спешившись, отправился в разведку.

Архаров спланировал эту операцию так.

Демка, успешно притворяясь пьяным фабричным, готовым полюбить весь мир, и преимущественно – людей незнакомых, сперва ведет новоявленных дружков в «Негасимку», где их держит до темноты. Затем же, выпросив у кума («кумом» на сей раз был сам хозяин «Негасимки» Герасим, мужичина обстоятельный, хотя и сотрудничал с архаровцами на манер Марфы: что-то выкладывал, как на духу, что-то – наполовину, что-то и вовсе утаивал) заранее припасенные сермяжные армяки для беглецов и денег на извозчика, Демка отправляется с

ними, с голубчиками, в сторону Стромынки, попутно растолковывая им здешнюю географию, чтобы они наверняка поняли – от того места, куда он их доставит, весьма легко отправиться в Черкизово, на поиски шайки, к которой оба принадлежат. После чего главной его задачей станет – беречься, чтобы такого услужливого проводника не отблагодарили тычком ножа под сердце.

«Кума», у которой, по словам Демки, можно было и раздобыть выпивки, и переночевать, была солдатская вдова и жила за Преображенской заставой. Федька подкрался к домишке огородами, встал на завалинку, зглянул в высокое окно. Старуха с внучкой сидели у светца, в который была вправлена довольно ярко горевшая лучина, и пряли. Федька бесшумно слез и пошел в пустой курятник, дверь которого была приоткрыта, – ждать. Какое-то время спустя он позавидовал Клаварошу и драгунам – тех хоть малость грели конские бока...

Наконец раздался скрип полозьев, слабый звяк бубенчика под дугой, пьяный Демкин голос – как всегда, исполнялась скоромная песня про то, как мужской причиндал с женскими прелестями в баню ходил. Таких произведений Демка знал довольно много и иногда заставлял усмехнуться даже самого обер-полицмейстера, умевшего не хуже бывших мортусов применить к месту соленое словцо.

С саней сошли беглецы и вытащили Демку, которого весьма правдоподобно не держали ноги. Он тут же заорал, призывая куму Марью, ему откликнулся из сеней бабий голос, и все трое были впущены в домишко.

Федька усмехнулся – пока все шло как следует.

С завалинки он увидел, как старуха сажает гостей к столу. И тут же самому страшно захотелось хоть какого пирога. Полет души, который начался, когда Архаров велел отправляться вместе с драгунами, оказался весьма опасен для живота – Федька просто-напросто забыл поесть.

Для пущего правдоподобия Демка прямо при беглецах заплатил «куме» за угощение какой-то медной мелочью. И тут же заснул, рухнув башкой на стол. Старуха потеребила его, старший из беглецов чувствительно встряхнул за плечи – толку вышло мало. Старухина внучка, толстая девка с лицом, как непропеченный блин, ушла за крашенинную занавеску. Старуха негромко растолковала гостям, что уложить их может только на полу, и они, судя по всему, согласились. После чего она притащила из-за занавески свернутый войлочный тюфяк и старый тулуп. Демка так и сидел за столом, и Федька знал – он из-под сгиба локтя внимательно следит за углом, куда велено было постлать тюфяк беглецам.

Некоторое время все готовились ко сну – поочередно бегали на двор по нужде, укладывались, молились, встав перед темными образами в углу. Наконец старуха ушла, оставив лучину незагашенной – таков был уговор.

Федька весь подобрался – следовало ждать решительных событий. Беглецы, сидя на полу, шептались – и речь шла наверняка о Демке, а еще, возможно, о «куме» с внучкой. Все трое могли их запомнить и, оказавшись на Лубянке, выдать.

Наконец младший из беглецов (при допросе назвался Терешкой, а как на самом деле – одному Богу ведомо) на четвереньках пополз к печи – туда, где на стенке висела всякая кухонная дребедень, в том числе и небольшой тесак, которым хорошо рубить куриные головы на пороге. Федька чуть не навернулся с завалинки, изворачиваясь, чтобы лучше видеть.

Парнишка добрался до нужного места и снял тесак. Некоторое время он стоял на коленях без движения, потом пополз к старшему. Федька приготовился...

Когда старший, тяжело поднявшись, сделал босиком два шага, держа клинок наготове и примериваясь, как бы половчее ухватить Демку, чтобы полоснуть по горлу, Федька за окном заорал дурным кошачьим голосом. Налетчик отшатнулся, Демка зашевелился и, не отрывая щеки от столешницы, стал шарить рукой по столу. Другая меж тем совершила мягкое такое движение – чтоб локоть к боку прижался. Он был готов оказать сопротивление – но лишь в

том отчаянном случае, когда не будет иного выхода. Для того у него был припрятан за пазухой нож, с которым Демка управлялся куда лучше, чем деревенские налетчики.

Федька внимательно следил за беглецами, которые – очень вовремя! – устроили совещание. И сгорал от нетерпения.

Наконец они приняли решение и сели на пол – обуваться. Похоже, они собрались уходить, не причинив никому вреда, и это радовало. Но Федька торчал у высокого окна, пока они не подпоясались натуго и не вышли тихонько в сени. Демка повернул голову и показал темному окну длинный язык. Тогда только Федька отлип от стенки и соскочил в снег.

Беглецы вышли во двор, и Федька из чистого баловства залаял – как если бы псина была тут же, за углом. Они ускорили шаг, вышли на улицу и встали, соображая, в какой стороне Москва и в какой – Черкизово. Наконец верно определили направление и пошли скорым шагом.

Федька дождался, пока Демка выйдет из сеней. Теперь на нем уже была не ужасающая изгвазданная шуба, а такой же ловкий и опрятный овчинный полушубок, как у Федьки. Они подошли к забору и подождали, пока беглецы отойдет чуть подальше. Потом двинулись следом – один с одной стороны улицы, второй с другой, моля Бога, чтобы беглецы переполошили здешних собак. Тогда по одному лаю уже можно будет следить за их продвижением.

Лай был, но умеренный и бесполезный – беглецы шли все прямо да прямо. Миновав дома, они вышли на открытое место и остановились, словно решая – куда двигаться дальше. Остановились и Федька с Демкой. Не в силах усмирить нетерпение, Федька перебежал к Демке.

– Чует мое сердце, свернут к Измайлову, – прошептал Демка. – Там-то есть, где не то что шайку – всю турецкую армию спрятать... И до тракта бежать недалеко...

Они подождали. И точно – беглецы повернули налево. И пошли вдоль кладбищенской ограды.

Измайлово было не так чтоб далеко – в двух верстах от Преображенской заставы.

В свое время, более сотни лет назад тут стояло на горке село. Царь Алексей Михайлович вздумал преобразить его в остров. Запрудили речку Серебрянку, поставили две плотины со шлюзами – Жуковскую мельничную и Лебедянская, вода охватила горку со всех сторон. Благодаря плотинам речка превратилась в цепь больших прудов. При государе Алексее Михайловиче их было не менее двадцати, и во всех разводилась рыба, кроме Пиявочного – тут название соответствовало содержанию.

Все получилось так, как было любезно царской душе, и он полюбил эту местность. Посреди новоявленного острова поставили каменный Государев двор, деревянные хоромы неслыханной красоты, не хуже тех, что тогда же возводили в Коломенском, многочисленные службы. Хоромы состояли из двух десятков рубленых клетей, соединялись множеством лестниц и переходов, имели резные крылечки – все, как подобает. Был выстроен и Покровский собор, а за ним, у новехонькой мельницы Серебрихи, устроили хозяйственный двор с огородами и теплицами, где росли дыни, арбузы, виноград для государева стола и даже финиковые пальмы. Там же поставили три завода – винный, льняной и стекольный.

Теперь Измайлово было заброшено – разве что государыни поочередно, и покойная Анна Иоанновна, и покойная Елизавета Петровна, любили там охотиться. Да, по старой памяти, держали там зверинец и псов. Зверовщики и псари рассказывали байки, как сто лет назад Измайлово, любимое село государя Алексея Михайловича, процветало, были там образцовые пасеки, рыбные пруды, теплицы, даже тутовые деревья росли. От поколения к поколению передавали, как служители зверинца сочинили челобитную, в коей жалостно просили денег и для себя, убогих, и для медведей с рысями. Челобитная попала царю в руки, когда был он сердит, потому начертал: всем отказать. Подумал и добавил: кроме зверей.

На прудах раньше прикармливали овсом диких уток для охоты. Охотой на уток с соколами особенно увлекался покойный царь Петр Федорович. Простым людям и даже помещи-

кам баловаться охотой в Измайлове строго-настрого запрещалось. А «измайловский зверинец» был соблазнителен! Он простирался на несколько верст, и лесничие тщательно следили за звериным благополучием. Близ Владимирского тракта были лесные заячьи угодья, а севернее – лосиные и «кабанник». Туда выпускали пойманных в других лесах зайцев, оленей, косуль, кабанов, был даже «лисятник», и зверье приживалось на новом месте. Впрочем, чтобы оно не разбежалось, «измайловский зверинец» еще по приказу государыни Анны Иоанновны был обнесен прочным деревянным тыном. Зайцев берегли – нарочно отпускались порох и дробь для уничтожения филинов, ястребов, подорликов, коршунов и прочих пернатых вредителей, нападавших на них.

Сейчас это место было в запустении, старый деревянный дворец на острове посреди Виноградного пруда – сломан, земля роздана оброчным крестьянам.

Туда-то, в заброшенное Измайлово, судя по всему, и спешили беглецы. И спешили весьма бестолково – то и дело норовили пройти по бездорожью. Одно утешение – преследователи могли ступать шаг за шагом в их глубокие следы.

В чистом поле беглецы были видны издалека – но и Федька с Демкой точно так же были бы видны, если бы беглецы обернулись. Демка, догадавшись, лег в сугроб и повалялся вволю, как стоялый жеребчик. Встал – ни дать ни взять снежная баба, каких лепят детишки. Федька так ему и сказал.

– Нет чтоб с мраморным болваном сравнить, – упрекнул Демка. На мраморных итальянских болванов обоего пола они насмотрелись у Волконского и в прочих богатых домах, где бывали по долгу службы.

Федька точно так же вывалился в снегу, и они, то и дело приседая на корточки, пошли за беглецами, стараясь не терять их из виду.

– А ты там бывал? – спросил Федька. – А то не упустить бы...

– Не упустим, поди. Плохо, что зима. Летом бы легче их выкуривать с острова.

– С чего ты взял, будто они на острове?

– Чую...

– Сам, что ли, там прятался?

– Не твое собачье дело.

Тут Федька и заткнулся.

С Демкой такое случалось – вдруг на невиннейший вопрос отвечал грубостью, спасибо еще, что не матерной. Федьке и в ум не всходило, что иной созревший в голове вопрос лучше оставить при себе.

Некоторое время они шли молча.

– Ага, – сказал вдруг Федька. – Вот они-то здешних мест и не знают...

– А что такое?

– Слишком к зверинцу забирают... А там не пройти, там и канава, и тын, а где тына нет – вал земляной. Разве что случайно набредут на просеку. Там, где просеки из лесу выходят, ворота есть, ежели уцелели, а не уцелели – тем лучше... Слушай. Ты пойдешь за ними, и пойдешь, и пойдешь, пока они, чудилы грешные, все-таки не выбредут к мосту. Мост там к острову, здоровенный, не хуже нашего Каменного... По льду они, поди, боятся. А я пойду напрямик. Погляжу, что к чему. Знак, как доведешь, дашь по-волчьи. И не «вау», не по-собачьи, а открытой глоткой – «ау-у-у-у...»

– Ввою, дальше что?

– Дальше – поворачивай тут же и за драгунами. Они, я чай, по нашему следу уже и кладбище миновали. Увидят, что след раздвоился, наверняка помедлят, подождут. Ты их там встрень и веди по моему следу, понял?

Федька хотел было обидеться: такого он не припомнил, чтобы Архаров поставил Демку над ним старшим. Но сдержал себя, хотя и с трудом.

– И куда вести?

– Ох... вот же навязался на мою голову... Да до речки же! Там старая сторожевая башня на острове, зовется Мостовая. Вы ее высмотрите – и к ней. И там ждите, на мост не всходите.

– Чего ждать-то?

Демка задумался.

– А сам не ведаю, – сообщил он. – Коли я маху дал и там, на острове, пусто, я сам всех на мосту встрену... Только так быть не должно!

– Никуда я не пойду, – вдруг уперся Федька. – Коли там пусто, значит, налетчиков спугнули и они прочь подались. И наши голубчики то ли знают, где их теперь искать, то ли нет. Коли знают – один ты, что ли, за ними по снегу побежишь? И как мы тебя тогда искать станем? А коли нет – как ты их в одиночку повяжешь? Ведь упустишь!

– А коли так выйдет, ты тут же господину Архарову с радостью доложишь – Костемаров-де опозорился? – нехорошо спросил Демка. – А и шел бы ты через два хрена вприсядку, довандалышик острематый!

Это было прямое оскорбление. В доносах Федька замечен не был – а разве в том, что сперва выпалит ненужное слово, а потом лишь подумает. Да и то – в последнее время как-то приспособился себе рот зажимать.

– А в рыло? – спросил Федька. И добавил кое-что злобно-заковыристое.

Демка ахнул и изготовился к драке.

Редко, но случалось – Москва любовалась, как дерутся между собой архаровцы, и получала от этого истинное наслаждение. Потом обер-полицмейстер, не разбирая правого и виноватого, вершил суд, возможно, не совсем справедливый, зато скорый и беспощадный. Потому что докапываться – тратить время, а коли задрались – то оба хороши. А он за эту шалую братию перед князем, тогда еще графом, Орловым поручился. Ему, выходит, и карать за дурачества.

Тут досужей публики не было. Но и возможности сцепиться по-настоящему тоже не было.

Федька умел биться на кулачках, кое-что перенял у Архарова, зато Демка знал всякие воровские ухватки, да еще и выпрашивал Клавароша. Тот показывал, как дерутся в ночных переулках Лиона – одновременно нанося удары и клинком, шпагой или саблей, и ногами. Последнее Демку особенно привлекало – он был худощав, неширок в плечах, и много силы вложить в кулак не мог, а вот ножные неожиданные удары при его сложении были хорошим подспорьем.

Но Федька знал эту его особенность и берегся, как мог.

Они насакивали друг на друга, совершенно забыв о беглецах, меся ногами снег, пыхтя и выкрикивая очень обидные слова. Ни одному не удавалось нанести такой удар, чтобы уложить противника.

Наконец Демка, сунувшись к нему слишком близко, открылся – тут крепкий тугой кулак в меховой рукавице и влетел ему в очень неприятное место – в верхнюю губу, подбив снизу нос. Демка, взвизгнув, шлепнулся в снег.

– Что, докомандовался? – спросил Федька.

Демка, сжав ком снега, тут же уткнулся в него окровавленным носом.

– Блядь... – с грехом пополам выговорил он.

– Сам ты блядь... – отвечал Федька, запустил руку под шапку и крепко почесал в затылке. Ничего более глупого он и вообразить себе не мог. Называется – доверили важное дело! Летела душа, летела, летела... прилетела! Но как же было удержаться?

Демка уселся в снегу поудобнее и запрокинул голову. Федька вздохнул и присел рядом на корточки.

– Ты вставай, что ли, – сказал он виновато. – Чего так-то мерзнуть.

Демка действительно встал, хотя и очень неловко – не хотел опускать запрокинутую голову. Федька отошел в сторонку. Глупость получилась несусветная – задрались, как уличные мальчишки.

Демка придерживал снежный ком на переносице и молчал. Федьке даже сделалось не по себе. Двое внезапных врагов в чистом поле...

– Сунешься – сдачи получишь, – предупредил он Демку. Не от большого ума, скорее с перепугу. Но боялся Федька отнюдь не Демкиных кулаков. Он боялся всего того, что будет потом.

А что может быть с двумя архаровцами, сорвавшими рейд конных драгун, цель коего – повязать шайку беглых, которая уже неплохо пошалила на Стромынке? Ну, первым делом, конечно, в подвал к Шварцу, для вразумления...

Демка вдруг повернулся к Федьке.

– Ну, будет с меня... – сказал он. – Душу за службу кладешь, а кому все лучшее достается? Будет с меня! Не поминай лихом!

И пошел прочь по собственным следам.

Федька растерялся. По-настоящему он своей вины не ощущал – его обругали, он ответил, все само собой образовалось. Однако положеньице сложилось – надо б хуже, да не бывает... При мысли, что Демка вот этак, закинув башку и придерживая ком снега, уходит вообще из архаровцев непонятно куда, а что всего верней – уходит из своих во враги, Федьку прошиб холодный пот. Что скажет обер-полицмейстер? Демка на Москве сыщет, где укрыться! Он все подвалы знает и даже про те рассказывал, что прокопаны под самым Кремлем. Он найдет бывлых дружков, клевых мазов, и те, попеняв ему за отступничество, опять примут к себе, потому что Демка хитер и ловок, вон ведь как притворился пьянюшкой и прямо в храме поладил с беглецами...

Беглецы!..

Тут-то Федька и встал в пень.

Он не мог отпустить Демку – нужно было как-то потолковать, помириться, развернуть его носом в другую сторону! Иначе же невозможно – если даже Федька в одиночку выследит уже незримых беглецов, ему же самому придется бежать за драгунами. По незнакомой местности, по колено в снегу... А пока будет бегать – неизвестно, что случится. Скажем – его заметят, и шайка, без того обеспокоенная исчезновением четырех налетчиков с санями, снимется с места. Лови ее потом в Измайловском лесу!

Да и точно ли она засела на острове? Ведь беглецы могли просто-напросто заблудиться. И шастай теперь там – зимней ночью, пусть даже лунной, в полном одиночестве, по пояс в снегу, шараясь от каждого треснувшего сучка!

Федька решительно не желал оставаться один. Он побежал следом за Демкой и был послан в известном направлении – и со всей полицией вместе.

– Уходишь, да? – спросил он в отчаянии. – А мы? А Тимофей?

– Не моя печаль.

О том, что архаровцы связаны круговой порукой, обер-полицмейстер время от времени напоминал – не слишком сердито, потому что большой нужды в этом не было. Но если сейчас Демка уйдет – Архаров живо вспомнит ту чумную осень, когда Орлов вмешался в судьбу московской полиции. Тогда отвечать за сбежавшего Костемарова придется всем.

Федька не очень любил принимать решения. То есть, когда он по приказу Архарова занимался каким-то розыском, то охотно проявлял самостоятельность. Сейчас же он предпочел бы, чтобы рядом оказался обер-полицмейстер в своей тяжелой синей шубе и в любимых валенках. И отдал приказ – дурака Демку связать, доставить на Лубянку и уложить у Шварца в верхнем подвале, в той самой конуре, куда порой определяли на ночлег доктора Воробьева, заперев ее снаружи поплотнее. А утром будет уже другой разговор.

– Слушаюсь, ваша милость, – отвечал бы радостный Федька. Тем более, что у него всегда была при себе для такой надобности веревка.

Но гнать перед собой связанного Демку обратно к Преображенской заставе, при этом непременно разминувшись с драгунами, и сдавать его под временный присмотр «кумы» Федька не мог.

На одной чаше умозрительных весов оказались все неприятности, связанные с Демкиным дезертирством. На другой – судьба рейда и шайки налетчиков. Если допустить, чтобы беглецы нашли своих и предупредили, будет плохо – ищи-свищи потом этих налетчиков! Только по весне, когда сойдет снег, явятся на обочинах догола раздетые покойники.

Чаша замерла в неустойчивом равновесии. Ошалевшая Федькина душа металась меж ними, толкала весы, чтобы хоть что-то перевесило. Не получалось.

И вдруг сжалился Господь – спустился с небес овальный медальон на разорванной ленточке, лег на одну из чаш – и сразу все сделалось ясно.

О Господи, а коли и она – на той обочине?... Спаси и сохрани!

– Ну и черт с тобой, – сказал Федька вслед дезертиру. – Без тебя управлюсь.

У него были пистолет, хороший нож, веревка, огниво, стеклянная фляжка с водкой, да еще на поясе болтался старый палаш, которым он еще не научился владеть столь же великолепно, как Клаварош. Обращению с ножом, кстати, тот же Демка и выучил.

Федька вздохнул и пошел по глубоким следам беглецов.

Он понятия не имел, где тут что, знал только, что сбиваться со следа нельзя, даже если налетчики примутся петлять, как зайцы.

Они, разумеется, забрели куда-то не туда – след привел к деревянному тыну и поплелся вдоль него. Потом беглецы нашли дыру, забрались через нее в лес – и тут Федька хлебнул горяшка, потому что следы перестали быть заметны. Он уже хотел было возвращаться, но набрел на просеку, а просека вывела к откосу, который был берегом речки Серебрянки. Сама речка лежала внизу белая-белая, снег выглядел нетронутым, и Федька вовремя вспомнил, что говорил Демка про сторожевую башню. Он стал ее высматривать издали и не сразу сыскал – мешали деревья.

Башня оказалась островерхой, с черными окнами – надо думать, под шатровой крышей была когда-то звонница. Когда-то она, видимо, была выбеленной, теперь краска сошла, башня была почти так же темна, как ночное небо.

Следы привели к мосту – длинному, сажень в полсотни, с арками, чересчур великолепному для этого опустевшего места. Следы и на мост вошли, и, сколько было видно, исчезали в полукруглом проеме под башней, где когда-то были ворота.

Федька задумался. Похоже, Демка был прав – налетчики свили себе гнездо на развалинах бывшего царского дворца и не только дворца.

Остров стал тем образцом, по которому государь хотел преобразить жизнь своего царства, да только не успел. Многие погибли, но устоял храм, но оставалось немало хозяйственных построек, которые все никак не рушились, никому они не были нужны и стояли по берегам Серебрянки и прудов мрачными монументами былого величия Измайлова. Заводы на острове, когда-то поражавшие иностранцев, теперь были известны только лесникам.

Несколько минут Федька думал – идти ли на остров по каменному мосту, или переправиться где-то в сторонке, неприметненько, по льду Серебрянки. Налетчики непременно должны были выставить караулы – по крайней мере, сам Федька обязательно посадил бы кого-нибудь на башне...

Он, встав за дерево, уставился на Мостовую башню в великой задумчивости.

Даже ежели на ней кто-то засел – то их там не более двух человек. Справиться с двумя, не ждущими нападения, нетрудно – на то и нож, а как это делается – рассказывал и показывал

Тимофей. Можно преспокойно подняться по лестнице, отвечая на вопросы, что смена-де прислана... вряд ли, что они там, наверху, так уж стерегутся...

Зато потом можно с башни разглядеть весь остров!

Коли они там – хоть где-то, да горит огонек... огонек...

А что, коли зажечь на башне костер?

Федька изумился этой мысли и тут же стал изыскивать доводы в ее пользу. Драгуны, идя по следу, окажутся поблизости от острова – а огонь на башне будет виден издалека. Они поймут, что тут дело нечисто. Поймут, что это им – знак!

Но точно так же поймут, что дело нечисто, засевшие на острове налетчики. И кинутся наутек...

Федька испытал огромное желание хорошенько поскрести в затылке.

А как они кинутся наутек? Пешком, по пояс в снегу?

Федьке так страстно хотелось залезть на Мостовую башню и развести там огонь, что он всю свою умственную деятельность направил на изыскание поводов сделать это. Если бы кто ему сейчас сказал, что он увлечен красотой этого безумного предприятия, Федька бы здорово удивился – слово «красота» он употреблял крайне редко.

А меж тем именно стремление к ней очень часто вело его по жизни. Ибо всякое чувство, всякий порыв души имеет свою предельную форму, к которой ежели чего и прибавить – то как раз сверзишься по ту сторону грани между остатками разума и чистым безумием. Именно на этой грани вызревала всякий раз красота, манившая беспокойную Федькину душу. И в любви к Вареньке она также была – независимо от красоты девушки и прочих обстоятельств. Полюбить недостижимое и душой лететь к невозможному – этого Федькина душа требовала, этого всю жизнь искала, потому что невозможное – оно ослепительной чистоты, земная грязь к нему веки не прилипнет.

Вдруг его осенило.

Удрать с острова налетчики могут только при одном условии – если у них есть лошади и сани. На мосту Федька видел две широкие разъезженные колеи от полозьев. По меньшей мере одни сани у них были – те, что теперь арестованы и стоят на дворе Лубянки. Надобно разобраться – имеются ли другие? Если лошадей налетчики могли завести в любую развалюху, то сани в дом затаскивать не станут. Вот сверху-то их как раз и будет видно на белом снегу! И тогда же станет ясно, в которой части острова поселились эти сукины дети.

Можно добраться даже не до звонницы, а до нижнего яруса башни, и посмотреть с опоясавшего ее гульбища (по которому сто лет назад ходили стрелецкие караулы), что делается внизу. Может, сразу окажутся видны и сани, и даже лошади.

Но огонь?

Мысль о пламени, полыхающем на башне, совсем одолела Федьку.

Огонь должен быть высоко, как будто подвешенный в ночном небе...

Вообразив, как его увидят драгуны да как поскачут по снегу к Мостовой башне, Федька совсем вознесся духом. Он даже на мгновение забыл, что неизвестно – есть ли сейчас на острове налетчики, или ушли на свой гнусный промысел, или вообще благополучно оттуда убрались. В его душе, затмевающее большие звезды, билось на верховом ветру призывное пламя!

Они догадаться, они непременно догадаться, что означает сей огонь, убеждал себя Федька, уже делая первые шаги по мосту. Мост был длинный, утыкался в проем под башней, где когда-то висели ворота, и ежели б на башне сидели часовые – Федьку бы тотчас заметили. Как он ни извальялся в снегу, но движущаяся по мосту фигура все же была заметна.

Сверху Федька увидел, что на льду торчит что-то объемистое, припорошенное снегом, и рядом, кажется, дохлая лошадь. Он прикинул, сколько аршин пришлось бы лететь с моста вниз, и получилось немало – сажени три по меньшей мере. Но и немного для того, кто умеет правильно падать.

Очевидно, налетчики не имели опыта – иначе это искусство пригодилось бы, Федька так просто не дошел бы до башни и не встал бы в проеме, прижавшись к стене, сильно озадаченный – он пока не понимал, где должен быть вход в Мостовую башню.

Обдирая спину полушубка о неровную кирпичную стенку, он боком прокрался во двор.

Там, как и предупреждал Демка, царила сушая разруха. Разве что пятиглавый Покровский собор высился неистребимой громадой, темный и скорбный. А вокруг – даже не понять было, что громоздится, присыпанное снегом. Беглецы-то знали, куда двигаться дальше...

Не миновать было карабкаться наверх – чтобы хоть что-то понять...

Федька достал нож и, опять же вдоль стенки, пошел искать хоть какие-то двери. Стена, примыкавшая к башне, порядком пострадала от времени, и ничего удивительного не было в том, что Федька в конце концов едва не провалился в какой-то разлом. Очень тоскуя по хорошему фонарю, он руками обследовал дыру и понял, что там, в глубине – пространство.

Федька достал огниво и высек несколько искр. Они упали на трут, а далее – на кусок свернутой бересты, нарочно для таких случаев заготовленный. Факел образовался крошечный, только-только двумя пальцами удержат, но Федька понял – искомое нашлось. В толще стены из крупного кирпича была-таки лестница, скрытая от посторонних глаз. Перекрестясь, он полез наверх.

Забравшись на нижний четверик башни, он оказался в старой стрелецкой караульне и, забившись в угол, опять поджег бересту. Ему нужно было отыскать выход на гульбище.

Сейчас, попав в башню, Федька уже не хотел устраивать на звоннице никаких костров. Он неожиданно для себя остыл, сосредоточился и думал лишь об одном – как бы сверху разобраться, куда пошли беглецы. Несомненно, шайка приспособила для себя немногие уцелевшие дома, остатки деревянного царского дворца, который, говорят, был не хуже того, что в Коломенском. Но остров – не маленький, и нужно точно знать, куда направлять драгунский отряд.

Федька увидел лестницу и поспешил к ней, на ходу задувая бересту. Даже если ступеньки выщерблены и наполовину отсутствуют – до гульбища он доберется, а там уж и будет решать...

А что решать – этого Федька не успел додумать до конца. Потому что мысль прервалась вспышкой, голова стремительно понеслась по кругу и наступила темнота...

* * *

Клаварош очень не хотел ехать с полицейскими драгунами ловить разбойничью шайку. То есть, против борьбы с налетчиками он не возражал – раз волей случая сделался архаровцем, то нужно выполнять свои обязанности. Он только не любил зимних конных вылазок куда бы то ни было – да и какой южанин их полюбил бы?

Явившись в свое время в Россию, – было это более десяти лет назад, после того, как на российском троне вместо Петра Федоровича, любившего все немецкое, воцарилась Екатерина, привечающая французов, и слух о том долетел до Лиона, – Клаварош хотел было зарабатывать на жизнь своим ремеслом. Он умел ходить за лошадьми и считался хорошим кучером (прочие его умения, нажитые на улицах ночного Лиона, пока в расчет не шли). Но здешние дворяне имели крепостных кучеров. Зато они сильно нуждались в гувернантках и гувернерах для своего потомства. Французский язык был в большой цене!

Клаварош был довольно грамотен, чтобы читать книги и понимать напечатанное. Он свел знакомство с неким мусью Ланже, которого полагалось теперь звать господином аббатом, хотя в отечестве своем он был лакеем у не слишком знатного господина. Аббат-самозванец снабдил его рекомендациями и направил в почтенное семейство, где подрастали три недоросля. Родители желали, чтобы сыновья поймали свою фортуна при дворе, и полагали, что за полгода гувернер вобьет старшему в голову всю французскую грамматику вкупе с правилами галантного обхождения, а тогда уж можно отправлять дитяtko в Санкт-Петербург, в полк.

Клаварош сперва было растерялся, он вовеки не задумывался о том, что глаголы и существительные сочетаются по каким-то законам, но потом его осенило.

Недоросля кое-как учили арифметике и фехтованию. А клинком француз смолodu владел неплохо. Это было то неправильное фехтование, допускавшее и удары эфесом, и удары ногами, которому его обучили сомнительные приятели, гроза ночных улиц и будущие каторжники. Однако Клаварош вполне мог преподавать азы обращения со шпагой любому дворянскому отпрыску. Зная за собой такие способности, он начал со знакомства с полупьяным немцем, искренне считавшем себя учителем фехтования, и вскоре об их учебных поединках донесли хозяину дома. Тот пришел полюбоваться – и в тот же день немец был отправлен поискать ветра в поле. Клаварош же завел правило – на уроках фехтования объясняться лишь по-французски. Вскоре воспитанник стал трещать не хуже столичного петимерта – к преогромной радости своей многочисленной родни. О грамматике никто и не помышлял.

Клаварош полагал, что все в его жизни определилось, и надолго. Он даже подумывал о женитьбе – но как-то все откладывал и откладывал эту затею. Пока не рухнуло на Москву морозное поветрие и он, не вовремя затеяв менять хозяев, не остался брошен на произвол судьбы в городе, который все еще оставался для него чужим, хотя русскую ручь француз освоил неплохо.

Прибавившись к шайке мародеров, он сумел уцелеть сам и спасти дочку своей крестной. И, чудом избежав расстрела, он вдруг понял – пора молодой удачи завершилась, настало время покоя, настал неторопливый спуск с вершины вниз, главное – чтобы он растянулся на предельно возможный срок. Потому и в полицейской конторе Клаварош старался устроить себе уютное местечко – без лишней беготни. Потому и принял авансы увлеченной Марфы – союз с ней, хотя и без венца, обещал тихую пристань, к тому же Клаварош был уверен, что, начнись у него предвещающие старость хворобы, Марфа о нем позаботится.

А им уже пора было объявиться – француз, увы, приближался к полувекovому рубежу. Мало того, что руки и ноги стали особенно остро воспринимать холод – так Клаварош еще и превосходно знал теперь, где именно у него расположено сердце.

Сейчас оно сидело там, в непостижимой глубине, тихо, но с утра, когда только зашла речь о рейде, дало о себе знать не то что болью – скорее уж страхом, возникающим всякий раз, как просыпалось за грудиной нечто ошутимое. И Клаварош, покачиваясь в седле, прислушивался к себе – все ли в груди благополучно...

– Куда далее, мусью Клаварош? – спросил подпоручик Иконников. Он тоже был не слишком рад ночному рейду, однако с Архаровым не поспоришь.

Клаварош пожал плечами. Далее – следовало ждать Федьку или Демку с донесением. Но оба куда-то запропали. На сей предмет была договоренность – подождать, двигаться по следам. Оставалось только решить с Иконниковым – довольно ли ждали.

– Так что же? – не унимался подпоручик. – Пойдем, благословясь? Пока людей не помозили.

– Пойдем, – согласился Клаварош. Ему не хотелось ничего решать и отвечать за решение. А хотелось ему в тепло. И чтобы это «тепло» было подальше от Москвы. Распоряжение Архарова он считал глупым – что, в самом деле, за грудные младенцы Федор Савин и Демьян Костемаров, коли к ним приходится приставлять гувернера? Особливо Савин – сколько ж можно жить на свете без царя в голове?

Не то чтоб Клаварош недолюбливал Федьку – а просто мог бы сейчас вместо рейда уже умиротворенно дремать на широкой кровати в розовом гнездышке Марфы, казавшемся мерзнущему французистинно райской обителью. Да еще и горячая пышная Марфа, все в постели проделывавшая с завлекательным смехом...

Они послали коней вперед и, колено к колену, поехали шагом туда, куда отправились вслед за беглецами Федька и Демка. Драгуны, так же попарно, двинулись за ними, тихонько переговариваясь. Самая последняя пара везла потайной фонарь – на всякий случай.

Клаварош молчал, пребывая в некой полудреме, молчал и подпоручик – рассуждать пока было не о чем.

Таким бессловесным манером отряд добрался до кладбища и, сообразно глубоким следам на снегу, повернул налево. Клаварош вглядывался в следы, как будто хотел по ним прочесть ход мыслей Федьки и Демки...

– Это что еще такое? Нагнали, что ли? – вдруг спросил Иконников. – Мусью Клаварош! Но француз и сам увидел разрытый снег. Там точно была драка!

– Васильев, сюда с фонарем! – позвал подпоручик.

Тут же явился свет, погулял по месту схватки и выловил темные пятна. Кто-то из драгун по приказу подпоручика спешил и поднял кровавый ком снега.

– Это что же? Они их нагнали? – спросил растерянно Иконников. – Мусью Клаварош, какого черта?!

Француз выразительно пожал огромными плечами – он тоже не мог понять, что тут произошло. Догонять и бить беглецов решительно незачем. Если даже беглецы учуяли погоню – то, чтобы напасть на архаровцев, им непременно следовало сесть в засаду. А какая засада на открытом месте?

От двух квадратных саженой снежного месива вели два следа. Клаварош взял у Васильева фонарь, сделал рукой знак, велевший драгунам оставаться на месте, и поехал вдоль того, что оказался ближе к копытам его коня. Оказалось – через три десятка шагов следы слились в один. Француз задумался.

Когда полицейские драгуны выехали на открытое место и обнаружили след, как бы оставленный одним человеком, топавшим в огромных и широченных валенках, это никого не смутило. Было ясно – кто-то из беглецов первым шел по снежной целине, второй – за ним, след в след, и далее точно так же, сберегая силы, шагали Демка с Федькой, дело понятное, ямины в снегу от такого с ними обращения делались куда больше человеческой ноги и в лаптях, и в валенке.

А вот дальше было дело непонятное. От места схватки вели большие следы и следы поменьше. Большие Клаварош назвал бы «спокойными» – люди шли размеренно, равномерно чиркая подошвами по снегу, прежде чем опустить ногу на всю его глубину. А те, что поменьше, показывали явное беспокойство – человек бежал, спешил, взрывал снег, так что между яминами были рваные канавки. Потом же этот суетливый человек, найдя большие ямины, опять пошел след в след – очевидно, продолжал погоню...

Клаварош хмыкнул – что-то тут неладно. Он не был охотником, но в домах, где служил гувернером, ему доводилось беседовать с хозяйской челядью о самых разных вещах, и про зимнюю псовую охоту он наслушался немало. Были бы тут сейчас те знатоки заячьих, лисьих и волчьих следов, которые так увлеченно хвастали своими подвигами, они бы уж разобрались...

Задача перед Клаварошем встала почти арифметическая: сколько человек оставило крупные следы? Ежели трое, а четвертый бежал следом и потом уж присоединился к общей цепочке, то что означают разрытый снег и окровавленные комья? А ежели двое? Шли двое, за ними побежал третий, вопрос: куда подевался четвертый?

Нехорошее подозрение проснулось в Клаварошевой душе.

И это подозрение нуждалось в немедленной проверке.

Едва ли не десять лет прожив в гувернерах, Клаварош насмотрелся на мелкие домашние интриги. Он и по природе был сообразителен, а тут еще такая школа тайных и явных козней и в мужском, и в бабьем исполнении. Поэтому все взаимоотношения в полицейской конторе были ему видны так же отчетливо, как ежели б архаровцы еженедельно приходили к нему на честную исповедь. Он просто не придавал им особого значения.

О том, что Демка Костемаров косо смотрит на Федьку Савина, Клаварош знал, и причину тоже знал. Архаров по своей природной осторожности все еще не слишком доверял Демке и

не давал ему ходу вверх. Федька же, простая душа, вдруг оказался у обер-полицмейстера в фаворитах (про попытку спасти Архарова от покупки зачумленного товара Клаварош не знал). Демка видел, что творится несправедливость: он по своим умениям и талантам стоял куда как выше Федьки. И порой в нем это недовольство просыпалось довольно заметно.

Пожалуй, было весьма рискованно посылать Демку с Федькой вдвоем туда, где им придется делать общее дело и принимать общие решения. Может, это и имел в виду Архаров, отправив в рейд Клавароша?

Клаварош понимал, как получилось, что этим двум пришлось работать в паре. Демка мог искусно подладиться к беглецам, Федька же рвался узнать, как в кучу награбленного добра угодил злополучный медальон. Но от понимания Клаварошу что-то не делалось легче.

Он развернул коня и поехал назад, где ждали его, сгрудившись у места непонятной схватки, драгуны.

– Стоять всем тут, – сказал он Иконникову. – Господин подпоручик, извольте ехать со мной.

Клаварош здраво рассудил, что драгунский офицер не мог ни разу не побывать на псовой охоте – все ж таки он из здешних дворян, а охота у русского помещика – любимейшая утеха. Коли в лес не выбраться – так хоть из окошка ворон пострелять.

Но, когда они вдвоем отъехали на несколько шагов, Клаварош понял свою ошибку.

Чуть ли не три десятка драгунских лошадей, пройдя по следам, оставленным беглецами и архаровцами, совсем их затоптали.

– Ну, что? – спросил подпоручик. – Теперь куда?

Клаварош молча поехал назад, светя фонарем на взрытый копытами снег. Поручик остался ждать – он не понимал странных маневров француза.

Любопытно, что и сам Клаварош не мог бы определить, что именно надеется найти. Ему только было здорово не по себе – он не уразумел вовремя, чего от него хочет Архаров. Обер-полицмейстер, очевидно, хотел, чтобы Клаварош ни на шаг не отпускал от себя Федьку. На первый взгляд – совершенно дурацкая затея! А как посмотришь на следы, на окровавленный снег, так и поймешь – следовало, втихомолку навешивая на Архарова всех французских дьяволов и приправляя эти словеса французским же дерьмом, впрямь идти с Федькой к «куме», а не сидеть с обиженной рожей в седле, прячась от ветра за драгунскими епанчами.

Клаварош вспомнил поговорку, услышанную от Шварца: русский человек задним умом крепок. Шварц объяснил про задний ум, и тогда же Клаварош высокомерно подумал, что к французам сия мудрость не относится. И как еще относится! Только высказана несколько элегантнее: состояние Клавароша на его родном языке называлось бы сообразительностью на лестнице.

Что же произошло на месте схватки? Кто с кем дрался? Кто побежал следом за беглецами? Могло ли быть, что в драке кто-то один рухнул в снег, кто-то второй продолжил преследование, а побитый, кое-как ухваченный разбитый нос холодным снегом, одумался и понесся вдогонку?

Коли бы побитым был Федька – скорее всего, у него хватило бы служебного рвения для такого поступка. Опять же – Демка исполнял распоряжение Архарова, а Федька спешил узнать тайну медальона с Варенькиным портретом.

Всякий раз, сталкиваясь с любовью, доведенной до высокой и малопонятной степени, Клаварош ощущал недовольство. С него хватило Терезы Виллье, мечтавшей умереть от голода в ховринском особняке. Федькины страдания по недоступной мадмуазель Пуховой были в Клаварошевом понимании того же качества: глупость, от которой вылечит только хорошая встряска. Но сейчас француз отчетливо понимал: именно по причине этой глупости Федька будет идти по следу медальона до конца.

Стало быть, Демка расквасил Федьке нос, а сам преспокойно продолжал преследование. Неожиданное соблюдение порядка, весьма неожиданное, ничего не скажешь!..

Клаварош тяжело вздохнул – следовало поворачивать коня и гнаться за архаровцами дальше. А ссорятся они там, в незримом пространстве зимней ночи, или мирятся – не суть важно, главное – они опять идут по следу.

И тем не менее он ехал назад, все более удаляясь от места схватки и все более приближаясь к Преображенской заставе. Что-то ему в собственных умопостроениях казалось неправильным. И если бы кто спросил, чего француз надеется высмотреть на снегу, то ответа не получил бы вовсе. Может даже случиться, Клаварош просто задумался, тяжело задумался, и причиной был обыкновенный страх: он боялся сделать или же не сделать то, от чего зависит судьба рейда.

Сердце тут же отозвалось на тревогу... пока еще не слишком явно – так, намекнуло на то, что оно у Клавароша имеется...

Вдруг размышления француз оборвались столь внезапно, как если бы кто перерезал мысленную нить ножом. Клаварош уставился на цепочку следов, которой он решительно не заметил, двигаясь вместе с драгунами за Федькой и Демкой. Она шла от тропы, возникшей в снегу от конских копыт, влево, и шла под весьма красноречивым углом. То есть, эти следы мог оставить лишь человек, который шел, возвращаясь от места загадочной стычки к Преображенской заставе. А кто бы мог в зимнюю ночь возвращаться из нежилой местности?

И вели они к Преображенскому кладбищу.

Клаварош веровал в Господа весьма умеренно. Ночная жизнь, которую он вел в ночном Лионе, способствовала практическому взгляду на мир. И менее всего Клаварош был склонен к мистике – хотя кое-кто из архаровцев и предположил бы с перепугу, что это возвращается домой временно восставший из гроба покойник. Про такие чудеса приходилось слышать часто – и даже бывали «явочные» с жалобами на нечистую силу. Следы были достаточно глубокие – шел человек, и Клаварош даже сразу сообразил, что человеку понадобилось в такое время на кладбище. Он свернул с пути, уступая дорогу полицейским драгунам. А почему он не желал встречи с драгунами – Клаварош и без подсказок знал.

Вот теперь наконец-то нужно было принять действительно важное решение.

Клаварош мог подать знак Иконникову – фонарь был виден издали, и если бы он стал совершать какие-то неожиданные движения, подпоручик, уж верно, прислал бы кого-то из драгун узнать, что стряслось. Прочесать кладбище и изловить того, кто оставил следы, несложно, если только он с перепугу не выучился летать по воздуху.

Все отчетливее француз понимал, что это именно Демка Костемаров...

Но прежде, чем махать фонарем, Клаварош призадумался.

Он по натуре не был сентиментален – и не вспомнил, как, чудом спасшись от расстрела, сидел в ховринском особняке, поджидая убийцу митрополита Амвросия, а Федька с Демкой, сбежав с чумного бастиона, пришли ему помочь. Это было – и прошло, а Клаварош не любил оборачиваться назад. Он более был склонен глядеть вперед. Впереди же он видел гору неприятностей.

Архаровцев еще граф Орлов, ныне – князь, повязал круговой порукой. В случае, когда кто-то один из них основательно накуралесит, виноваты будут все. А в каком случае можно считать архаровца накуралесившим? Только в том, когда сие станет известно людям посторонним. Лишь это вынудит обер-полицмейстера принять некие решительные меры. Именно вынудит – он своим чином за Демкины проказы платить не пожелает.

Полицейские драгуны в сем случае – посторонние. То, что озадачило Клавароша, – внутреннее дело самих архаровцев. Стало быть...

Тут он вспомнил опять же произнесенную Шварцем русскую поговорку о соре, который не следует выметать из избы. Немец, правда, применял ее к иному – к подробностям допросов в нижнем подвале.

Помянув дьявола, Клаварош чуть сжал колени, посылая крупного драгунского коня вперед – по Демкиному следу. Он должен был один, без всякой помощи, отыскать на ночном кладбище человека, который с младенчества промышлял воровством и прятаться умел знатно, он должен был вернуть этого человека в строй или же...

Об иной возможности Клаварош тоже подумал. Мертвый Демка опасности для прочих архаровцев уже не представлял бы. Погиб – и погиб, мало ли для чего нелегкая понесла его на кладбище? А убивать французу доводилось, и не только пистолетной пулей, шпагой и палашом тоже.

Следы вели вдоль кладбищенской ограды. Очевидно, Демка искал дырку, чтобы проникнуть на кладбище и, пройдя его насквозь, выбраться в каком-то неожиданном месте. Вскоре Клаварош до этой дырки доехал.

Конь заупрямился, не пожелал идти в довольно узкую щель, тогда Клаварош, спешившись, провел его под уздцы. Ему мало было дела до того, можно или возбраняется водить по заснеженному кладбищу коней с риском, что копыто ударит в чей-то могильный холмик.

– Костемаров! – крикнул он. Ответа, понятное дело, не было.

– Выходи, Костемаров! Или тебя будут ловить драгуны!

Демка молчал. Клаварош забеспокоился – в конце концов, если этот мошенник знаком со здешним кладбищем, то он вполне мог удрать, не дожидаясь, пока кто-то пойдет по следу. И исчезнуть навеки – и это еще в лучшем случае. В худшем – Костемаров нагло останется в Москве и вернется к прежнему своему ремеслу. Значит, надо преследовать. Невзирая ни на что.

Клаварош отвел в сторону руку с фонарем, чтобы лучше разглядеть Демкины следы на снегу. Тут-то и раздался выстрел.

Пуля прошла левое плечо – но не Клаварошево, а полушубка. Одежда это, взятая у здорового Кондратия Барыгина, была французу неимоверно широка – но он и выпросил полушубок с тем расчетом, чтобы поддеть под него как можно больше теплых вещей. По меньшей мере два вершка с каждой стороны были мнимой плотью – под кожей мехом вовнутрь имелись еще два кафтана.

Но выстрел обозначил местоположение стрелка.

Клаварош не знал, что у Демки имеется при себе пистолет, и выстрел его даже обрадовал – беды от него не случилось, а Костемарову не до того, чтобы перезаряжать оружие. Отбросив фонарь, француз поскакал туда, где должен был прятаться Демка, не доставая ни сабли, ни пистолета из драгунских седельных ольстров. Клаварош имел более действенное оружие – арапник.

Он настиг Демку уже на краю кладбища. Тот, ловкий и верткий, стал скакать меж могил, стараясь, чтобы между ним и Клаварошем непременно оказался какой-нибудь здоровенный деревянный крест. При этом Демка ругался неистово по-русски, Клаварош же с высоты седла лупил арапником, сопровождая удары французской бранью. Наконец Демке удалось отбежать к самой ограде. Как на грех, тут она была целой, и он полез, уверенный, что штурмовать этот забор на лошади Клаварош, уж верно, не станет.

Но француз не мог упускать беглеца.

Демка не учел, что ноги у Клавароша – какой-то нерусской длины, а в бытность кучером он привык находиться высоко, на уровне крыши кареты, и при нужде преспокойно лазил поверху даже когда кони шли рысью. Нужда же возникала во время ночных лионских проказ.

Клаварош направил коня впритирку к ограде и перескочил на ту сторону одновременно с Демкой. Оба, схватившись, покатались по снегу. И тут стало ясно, зачем Клаварошу арапник. Француз ловко накинул ремень на шею Демке и сжал так, что тот захрипел и засучил ногами.

– Сука подлая, – сказал Клаварош довольно громко. – Убью к бодливой матери!

И встал на колени над Демкой.

– Сейчас встанешь и пойдешь со мной, – продолжал француз. – Скажешь драгунам хоть единое слово – пристрелю. Говори – погнался за неким человеком... Дрался с ним, потом гнался за ним? Понял?

Демка молча пытался избавиться от ремня.

Клаварош усадил его, отпустив ремень лишь настолько, чтобы окончательно не удавить свою добычу. Потом поставил на ноги. И молча повел вдоль кладбищенской ограды.

Два раза Демка пытался его лягнуть, но Клаварош был настороже.

Кладбище оказалось совершенно бесконечным. Время несло галопом. Клаварош понимал, что ставит под удар весь рейд, всю погоню за шайкой налетчиков. Но отпускать Демку он не желал. Рейд мог окончиться крахом по разным причинам, и Архаров отнесся бы к этому разумно, – Демкино бегство же означало для всех архаровцев огромные неприятности.

Сердце имело отчетливые размеры – темное пятно в груди, которое надо бы прижать рукой и таким образом успокоить, но сквозь полушубок никак не получалось. Клаварош подумал, что было бы очень полезно просто сесть в снег и посидеть, не двигаясь. Однако он не мог себе этого позволить, и потому всего лишь шел не слишком торопливо.

Он и не думал, что сердце настолько изношено...

Наконец ограда закончилась – и за поворотом Клаварош, к огромному своему облегчению, увидел полицейских драгун. Увидел их и Демка.

– Погнался за неким человеком, – напомнил Клаварош. И ослабил ремень. Теперь он мог это сделать – при попытке бегства драгуны живо нагнали бы Демку.

– За сволочью какой-то погнался, – отвечал Демка.

– Прелестно.

Любимое архаровское словечко само выскочило французам на уста – он и не ожидал, что выскажется в духе обер-полицмейстера.

И, хотя Демка смирился со своей участью, Клаварош довел его до драгун, не снимая с горла ремня захвата. Лишь поставив своего пленника перед подпоручиком Иконниковым, он незаметно отпустил конец аrapника, и ремень соскользнул по Демкиной спине.

– Не извольте беспокоиться, господин подпоручик, – сказал Клаварош Иконникову. – Движемся далее. Но пусть приведут мою лошадь. Она стоит там... ее надобно искать там, на кладбище, у дальней ограды... А фонарь, статочно, пропал.

Драгуны Васильев с Кузьминым поскакали к Преображенскому кладбищу. Демка молчал. Клаварош искал, за что бы ухватиться. Ему все казалось – если под рукой будет надежная опора, сердце успокоится. Но рядом были только полицейские драгуны, а хвататься за лошадей – нелепо.

Клаварош мог, конечно же, сказать Иконникову про свое недомогание – и что бы из этого вышло? Домой его никто не отправит – стало быть, плетись, брат мусью, вместе со всеми – пока ночной рейд хоть чем-то завершится.

Иконников глядел на архаровцев с некоторым подозрением – они даже не пытались объяснить, что произошло, как если бы хранили государственную тайну.

– Где Савин? – спросил он Демку.

Демка, видя, что опасность почти миновала, отвечал как мог беззаботно:

– Да за налетчиками плетется.

– Куда плетется?

Демка задумался. Опасность-то еще оставалась! Ну как Федька расскажет про драку? И начхать всем, что сам же он эту драку и затеял – архаровского любимчика винить ни в чем не станут!

– Почему я знаю? Он по следу чешет...

– А ты?

Подпоручик Иконников понимал субординацию. К Клаварошу и к Демке он обращался по-разному: француз – старше годами, ведет себя по-барски, сразу видать человека достойного; про Демку же известно, откуда взят в полицию. Потому и обращение к нему было совсем простое.

– А я с одной сволочью задрался, детина за нами шел... А Федя за налетчиками по следу куда-то, хрен его ведает куда...

Не следовало Демке сходу врать, ох, не следовало! Врать-то он умел – для простого люда превосходно сходило, да только Клаварошу архаровские уроки впрок пошли. И вроде не разглядеть было француз, как Демка стрельнул глазами вверх, а вранье тут же сделалось для него явным.

Демка собрался с духом. Сейчас, очевидно, главное было – протянуть время. Может, явится такая Божья милость – освободит Господь Рязанское подворье от Федьки Санина?

– По следу, стало быть? – переспросил подпоручик. – Ну что же, мусью, сейчас молодцы твоего коня приведут, а ты, Костемаров, за Арефьевым садись, у него не мерин – слон.

Клаварош покачал головой и заговорил на языке, которого Иконников не знал, зато отлично знал Демка. Пресловутое байковское наречие на Лубянке бывало в ходу, когда у архаровцев случались неприятности и требовалось, не смущая посторонних, живо разобраться с виновниками. Сам Архаров им не брезговал. Клаварош, понятное дело, совершенства не достиг, но кое-чего нахватался.

– Хрущей ошманай, а мас басвинску темень вершает, обзетильщик клещевый!

Этакого вмешательства Демка не ожидал. Даже вытарашился, как на выходца с того света, и рот приоткрыл.

Не ожидал его и подпоручик.

– Это ты, мусью, по-каковски?

– Не извольте беспокоиться, – отвечал ему через плечо Клаварош. – Облопался бас, маз остреманный, охно! Будешь кляп во щях полоскать – в жуглой местомке позетим!

В переводе на благопристойную речь это было всего-навсего угрозой: Клаварош сообщил Демке, что раскусил его вранье, и пообещал, коли Демка не скажет правды, разобраться с ним в ином месте. Подразумевалась полицейская контора.

– Да будет тебе! – огрызнулся Демка, желая вернуть Клавароша в русло русского наречия. – Ничего с ним не сделается!

– Где Савин? Какой истрегой похлял? Слемзай, кулепет!

Собственно, этим Клаварошев словарь байковского языка почитай что и ограничивался. Но было еще кое-что в запасе – Клаварош, не отнимая левой руки от груди, выпрямил правую, которая до той поры прятала за спиной арапник.

И Демка понял, что сейчас будет очень плохо.

Он не был налетчиком, он не пачкал руки в крови. Демка в прошлой своей, дополицейской жизни был вор, шур, для которого некоторая трусость просто жизненно необходима. Иначе он в своем ремесле недолго задержится, а побредет Владимирским трактом и далее – в сибирскую каторгу.

Он бы схватился с Клаварошем один на один и, возможно, разоружил бы его – все-таки Демка был молод, ловок и знал всяческие ухватки. Но полицейские драгуны и подпоручик Иконников явно была на стороне француз. Как подумаешь – и впрямь подозрительно: Клаварош притащил откуда-то одного из архаровцев, которому полагалось бы в это время преследовать налетчиков, да и кроет его, никому ничего не объясняя, непонятными словами!

И ведь не убежать пешему от конных...

Демка понял, что молчать опасно. И врать опасно – когда вранье обнаружится, помирать ему у Шварца в нижнем подвале.

– На остров они пошли, – буркнул он. – Туда, где старые плотины и мельницы, на Серебрянку...

– Вон где они засели! – воскликнул Иконников. – А не врешь ли ты, детинушка? Остров-то – вон где!

И показал рукой, выпростав ее из-под тяжелой епанчи.

– Так они-то дороги не знают, прутся наугад! А мы-то с Савиным – за ними, по следу! – объяснил Демка, напуская на себя возмущенный вид.

– А почему ты знаешь, что на Серебрянку? – не унимался Иконников.

– Так чего ж тут знать-то? Все туда бегут! – брякнул Демка.

– Мусью Клаварош! – воскликнул подпоручик. – Может ли такое быть?

– Может, – подумав, отвечал Клаварош. – Надобно ехать коротким путем.

– Арефьев, сюда! – приказал Иконников. – Возьми к себе архаровца.

Тут подоспели Васильев с Кузьминым, привели Клаварошеву лошадь. Он взобрался в седло и вздохнул с облегчением – тупая смутная боль не отпускала, однако ему казалось, что сидя он ее легче перенесет.

Демка обхватив сзади Арефьева поверх епанчи, поехал во главе кавалькады – показывать дорогу. Дорога была короткой – до Виноградного пруда версты две, да до моста еще около версты.

Клаварош ехал рядом с Иконниковым, тихо радуясь – ему полегчало. Страх прошел, теперь можно было и поразмыслить. Зная Федьку, он предполагал самые невероятные события.

– Велик ли остров? – спросил он у Иконникова.

– Порядочен. В длину с версту да в ширину с полверсты, – отвечал подпоручик. – Доводилось там бывать. Выковыривали налетчиков еще до чумы. Я полагал, там теперь тихо.

– Может ли быть тихо, когда кругом бунт и неурядицы? – спросил Клаварош. – Нам ведомо, что налетчики – беглые крестьяне некоего помещика, усадьбу... piller? Грабить? И собравшись в шайку... Для них остров, сколько могу рассуждать, весьма удобен. До Стромынки недалеко...

– Ты, мусью, с другого бока погляди, – предложил подпоручик. – Какого беса им шалить на Стромынке, под носом у нас, когда все такие бунтовщики и ослушники бегут навстречу самозванцу? А сие, сударь мой, в другую сторону.

Клаварош задумался.

Три версты, даже зимней ночью, – невеликое расстояние, и вскоре драгунский отряд был уже неподалеку от моста. Тут Клаварош понял, что его с Демкой задача исполнена. Теперь распоряжался подпоручик Иконников. Он поделил отряд и большую его часть поставил в лесу, так, чтобы хорошо простреливался мост. Вторую, к которой прикомандировал Демку, направил в обход, чтобы полицейские драгуны, переправившись на Виноградный остров по льду, устроили там немалый переполох. По его расчету, шайка налетчиков не имела большого опыта стычек с полицией и должна была отступить к мосту, где ее встретят пулями и чуть позже – саблями.

– Знать бы еще, куда забрался ваш Савин, – ворчливо сказал Иконников. – Костемаров, каков у вас уговор?

– Чтоб ему ждать у моста, – тут же доложил Демка.

– Ну и где этот обалдуй у моста?

– Савин, я полагаю, следит за налетчиками на острове, – сообразил Клаварош. – Он знает, что мы вскоре прибудем, и ждет выгодной минуты.

– Хоть бы оно так и было, – отвечал подпоручик. – Ну, молодцы, за мной! Костемаров, и ты также. Коли уж знаешь здешнюю дислокацию. Мусью Клаварош, ты тут за старшего.

Полтора десятка полицейских драгун, прячась за деревьями, направились на восток, чтобы обогнуть остров и спугнуть налетчиков. Демка, безмерно счастливый, что отвязался

наконец от Клавароша с его арапником, стал хватать драгуна Арефьева спереди, как хватал бы бабу, и соленым словечком всех развеселил. Иконников прикрикнул – и вскоре его отряд исчез.

Клаварош сидел на неподвижном коне и опять прислушивался к своим ощущениям. Сердце уgomонилось – да не совсем. Дав себе слово, что по возвращении непременно навестит доктора Воробьева, он стал изучать расположение зданий на острове. Первой отметил Мостовую башню – и, не ведая, что идет по Федькиным стопам, задумался.

Коли бы на нее забраться – то прекрасно можно вести обстрел и моста, и пространства перед ней на острове...

Одновременно он забеспокоился о Федьке.

Клаварош не хотел рассказывать Иконникову историю с медальоном. Делать архаровца посмешищем среди полицейских драгун он не мог. Однако сам все прекрасно знал и понимал. Федька рвался докопаться до правды – а правда могла оказаться страшной. И что ему взбредет в буйную голову, ежели он узнает, что Вареньки Пуховой более нет в живых, человеку со здравым смыслом не предугадать. Своим же здравым смыслом Клаварош гордился – вот и этой ночью он весьма разумно расхлебал заваренную Демкой Костемаровым кашу. Главное теперь было – не проболтаться Марфе.

И тут на мосту появились сани. Кто-то неторопливо выезжал с острова, двигаясь прямо на драгунскую засаду.

Клаварош колебался недолго – ровно столько времени, сколько потребовалось саням, чтобы одолеть двадцатисаженный мост. Он ждал сигнала от Иконникова – сигналом должны были послужить выстрелы, – и не дождался. Поэтому он махнул рукой двум драгунам, чтобы втроем выдвинуться с опушки, из-за невысоких заснеженных елок, туда, где сани сделают поворот и ездоки окажутся перед нападающими, как на ладони.

Сердце опять возникло подозрительным расплывчатым пятном в груди. И одновременно Клаварош ощутил какую-то вселенскую нелепость своего положения: что он, немолодой француз, делает тут сейчас, в ночном лесу, в российских снегах, уже влажных, как полагается накануне весны, с ладонью на рукояти драгунского пистолета? Зачем? Какого дьявола?..

Стрелять? Кричать? Скакать навстречу непонятному врагу? Но, Господи, для чего ему все это? За что, за какие грехи ему все это? Ему – перепуганному странными сигналами своего тела? Господь мог бы поместить его туда, где можно жить как-то иначе, без суеты, хотя бы кучером, коли не гувернером... и по ночам лежать, блаженно ощущая свою неподвижность...

Но возник тот единственный миг, когда можно было задержать сани без пальбы. На повороте упряжная лошадь несколько замедлила бег. Клаварош послал коня вперед и возник возле кучера, как бес, ниоткуда. Тут же он наотмашь ударил мужика арапником по лицу.

Затем, оставив арапник висеть на ременной петле, охватившей запястье, Клаварош проскочил на коне вперед. Поймать в потемках упряжную лошадь под уздцы он не мог – взялся, за что подвернулось, и поскакал к опушке, чтобы, сбив сани с колеи, загнать в ельник и так их остановить.

Но при этом он не видел, чем заняты двое драгун, которым был дан знак действовать.

Полицейские драгуны знали, что архаровцы обладают разнообразными талантами, взлеянными еще в их прошлой загадочной жизни. Но Клаварош был им известен как дотошный сыщик, не более. Его неожиданное безмолвное нападение на сани их ошарашило – как потом выяснилось, они ожидали, что француз будет стрелять в кучера. Да и странно это было – человек в преогромном полушубке, имеющий такой вид, как ежели бы на седло поставили стоймя бочку, вдруг совершает столь быстрые телодвижения. Потому-то они на несколько мгновений задержались в ельнике – и этого хватило, чтобы двое налетчиков, сидевших в санях, соскочили и побежали обратно на мост.

Парочка растяп поскакала следом. И тем обнаружила присутствие засады на опушке.

Клаварош развернул коня и увидел, что на мосту уже идет сражение. Это было скверно – ведь еще не прозвучало выстрелов, означавших, что Иконников переполошил налетчиков и вступил с ними в бой. Клаварош понял – нужно всеми способами избавиться от налетчиков, не поднимая шума. Он поскакал по мосту, а там произошло совсем неприятное: один из драгун оттеснил налетчика конем к кромке моста, чтобы сбросить на лед, но тот исхитрился выдернуть его из седла. Клаварош знал эту ухватку – взять разом за ступню и за колено, резко подбросить вверх, он даже видывал, как сие проделывается на полном скаку. И он ахнул, увидев, что драгун полетел с моста вниз.

Помянув дьявола, Клаварош огрел арапником лишившегося всадника коня, чтобы прогнать его и оказаться лицом к лицу с налетчиком. Тут-то и было первое изумление – тот оказался безбородым.

Прожив в России целую вечность, Клаварош усвоил: русский человек без особой нужды бриться не станет. А в крестьянском звании это вообще чуть ли не за грех считается. Про налетчиков он знал: взбунтовавшиеся крестьяне. И коли к ним прибилося какое лицо чиновничьего или, Боже упаси, господского сословия, то вряд ли станет каждое утро затевать бритье образины. Зимой в походных условиях это затея нелепая и малоприятная.

Тут же – по крайней мере, так увиделось Клаварошу, – лицо под надвинутой на лоб шапкой было белым и гладким.

Человек, который, сдается, не был налетчиком, оказался слева от него и собирался проделывать тот же фокус, что с драгуном. Но француз знал и умел поболее, чем полицейские драгуны. Хлестнув коня, он проскакал несколько вперед, загородив противнику дорогу к Мостовой башне и воротам. Далее он собирался выдернуть из ножен саблю – зря, что ли, тащил ее с собой? Но тут-то и грянул вдали первый выстрел.

Клаварош был на середине моста. Второй драгун – тоже, высоко держа обнаженную саблю. У ног его коня лежал зарубленный налетчик.

Клаварош задумался на мгновение – как быть? Возвращаться в засаду? Тут же вспомнил, что в ельнике стоят застрявшие сани, и их кучер, может статься, уже бежит во всю прыть по лесу. То бишь, один из налетчиков, считай, упущен.

На острове началась пальба. Голосов Клаварош, правда, не слышал – значит, побоище вспыхнуло довольно далеко. Так подумал он – и, очевидно, ошибся.

В сотне сажений от моста на речном льду показались две темные фигурки. Они спешили переправиться на берег, и были основания полагать, что вслед за ними мостом пренебрегут и прочие налетчики. План Иконникова летел в тартарары.

Возможно, среди налетчиков оказался кто-то умный и додумался до засады на мосту...

Или же они с перепугу кинулись кто куда, мало друг о друге беспокоясь, и это оказалось бы лучшей тактикой – особенно коли побежали бы вверх по течению Серебрянки и стали спускаться на лед там, где их от моста видно не было.

Клаварош уставился на Мостовую башню. Вот ведь откуда все видно! И ближнее окончание острова, и пространство перед башенными воротами...

На башне, однако, никакой суеты не наблюдалось. Налетчики, надо думать, не сообразили поставить там караул.

Клаварош замахал рукой драгунам, что означало: все сюда. И они поскакали из ельника на мост – и заплескались тяжелые синие епанчи, являя красный подбой.

– Пятеро – туда, – Клаварош показал на башню. – Ты, ты, вы двое, ты... Должна быть дверь. Наверх, стрелять по реке!..

Он махнул арапником, указывая направление.

Было уже не до сердца.

Драгуны поскакали к воротам и скрылись в их черной глубине. Тут же раздались выстрелы. И Клаварош почему-то вспомнил пропавшего Федьку.

Где этот шалый детина, что с ним? Жив ли? Был бы жив – ждал бы, поди, у моста. Куда его, дурака, занесло? Был бы жив – растолковал бы, что там творится на острове, и не пришлось бы сейчас мучительно соображать, как распорядиться оставшимися драгунами. Дьявол его побери, этого галантного любовника, рвущегося в сражение ради медальона возлюбленной! Вот уж воистину Амур некстати!..

Пожалуй, умнее всего было бы отступить к опушке, оттуда видна немалая часть берега Серебрянки, и коли кого из налетчиков нелегкая понесет через речку по льду, более надежды перехватить его и взять живьем!

– Отходим! – велел Клаварош. – Назад!

Громкий крик заставил его поднять голову.

На гульбище Мостовой башни что-то шевелилось. Похоже, там боролись двое, но что за двое – Клаварош понять не мог. Вдруг они исчезли. И тут же раздался вскрик – кому-то из полицейских драгун оцарапало щеку прилетевшей со стороны башни пулей. Выходит, там все же был караул, и Клаварош, в который раз помянув дьявола, поскакал к воротам, шаря в ольстре пистолет. Он должен был знать, что произошло с людьми, которых он послал на Мостовую башню!

Навстречу Клаварошу бежали какие-то люди в длинных армяках, распояской, и эти уж были бородатые. Он выстрелил первому в грудь, сунул пистолет мимо ольстры, выдернул саблю. Скакавшие следом драгуны тоже стреляли.

Начался обычный ночной бой, в котором не сразу поймешь, где – чужие, где – свои.

– Мусью! Мусью! – кричал сверху, с гульбища, кто-то из драгун. – Тут какой-то бес засел, по всем палит! По нашим, по налетчикам!

Первым желанием Клавароша было крикнуть в ответ: так это ж Федька Савин! Но Савин не мог стрелять в драгун – он же знал, какие события должны произойти, и даже коли он на башне – то сообразил бы, где свои, где враги. Разве что Амур лишил его последних остатков разума...

Клаварош ничего не имел против крылатого божка, он только полагал, что эта зловредная тварь, этот беспортошный младенец с луком и стрелами, должен знать в жизни свое место. И не размахивать дурацкими медальонами перед носом у мужчин, когда следует делать дело...

И тут Клавароша осенило.

Он не мог понять сложного выкрутаса своей мысли – она была чересчур стремительна и соединила немногие бывшие у него сведения в цепочку, как если бы по кочкам проскакала, минуя все необязательное.

Как ни странно, а на одном конце этой цепочки был пресловутый медальон, на другом же...

Клаварош едва не обругал себя старым дураком, и в иных обстоятельствах оно было бы поделом, однако сейчас жизненно важно было попасть на Мостовую башню.

– Не стреляйте, мой друг! – закричал он по-французски. – Не стреляйте, прошу вас! Это я, Клаварош! Не стреляйте, во имя всех святых! Не стреляйте, господин Тучков!

Он поскакал вдоль стены, еще не понимая, как драгуны попали на башню; увидел лошадей без всадников и понял, что где-то тут есть дверь; соскочил прямо в сугроб, потому что более было некуда; сделал несколько шагов и понял, что дальше идти не может – боль под грудиной вдруг резко отдалась в левую руку, а мир перед глазами полетел вправо.

– Не стреляйте, мой друг! – крикнул он и схватился за стену. Рядом оказался кто-то из драгун, кажется, Васильев.

– Наверх, наверх! – приказал ему Клаварош. – Оттуда стрелять, наверх беги... Не стрелять в господина Тучкова!.. Драгуны! Не стрелять!..

Когда Васильев, взметнув краем епанчи легкий снег, исчез в каком-то черном проломе, Клаварош вздохнул и понял, что ему нужна полнейшая неподвижность. И тут же его прошиб

холодный пот, голова закружилась, он возблагодарил Бога, что успел сойти с коня, и очень осторожно опустился на колени.

На Виноградном острове шла перестрелка, но он слышал звуки как сквозь перину. Главное было – лечь, поскорее лечь, неподвижность целительна... и хорошо, что стена, сложенная из удивительно больших кирпичей, так корява, есть за что придержаться правой рукой...

На Мостовой башне опять принялись стрелять, и Клаварош знал – палят по проклятым налетчикам. Вылазка оказалась удачной – сверху легко было достать пулями ополоумевшую шайку. Вот только бритый налетчик – он куда подевался?..

Из-за угла Покровского собора выехали те драгуны, которыми командовал Иконников. Они уже смастерили факелы, и по снегу носились тени. Клаварош узнал его голос – подпоручик ругался, но ругался как человек, неплохо выполнивший свою работу. Сверху его позвал кто-то из драгун.

– Что там у вас? – отозвался Иконников.

– Ваша милость, велите сани подогнать, раненые!

– Где ж я вам сани найду? – сердито спросил поручик.

– Ваша милость, там, за мостом, стоят! – подсказал кто-то из тех, что торчали с Клаварошем в бесполезной засаде. – Я добегу!

– Скачи, Лисицын! Живо! Крашенинников, что, догнали?

– Уложили, ваша милость. Один, сдается, только ранен – уползти норовит... взять его?

– Дуралей ты, взять, конечно, пока не удрал!

– Да не удерет!

Клаварош слушал и понимал – все хорошо, все сложилось успешно. Шайки, оседлавшей Стромынку, более нет. А что его, лежащего у стены, никто не видит, так это – обыкновенное явление сразу после боя. Как начнут считать покойников – так и до него доберутся. Может, все еще и обойдется.

Вдруг он услышал Федькин голос.

– Да пусти, скотина бессмысленная! Я сам, пусти...

По звукам Клаварош понял, что творится с Федькой.

– Ишь ты, как его выворачивает! – даже с некоторым уважением сказал кто-то из драгун.

– Со мной тоже так было, когда по башке огреб, – отвечал другой. – Ты, Федя, не бойсь, ничего, сейчас полегчает... Я-то все выхлестал – и чем на прошлой неделе кума угощала! Бог милостив – оклемаешься...

И тут же раздался голос Левушки Тучкова:

– Осторожнее, осторожнее, – просил Левушка. – Ножку придерживайте!.. Ножку!.. Сани где?

– Сейчас, ваша милость, сейчас же будут!

– Осторожнее, Христа ради!

Клаварош ничего не видел – конские ноги загородили ему белый свет. Но и по голосам понимал – кого-то сейчас бережно спускают с башни.

Раздался свист – посланный за санями пригнал их по-молодецки, остановил лихо, и опять засуетился Тучков, называя кого-то Анютой и голубушкой, умоляя потерпеть еще немного.

– Сколько лет сестрице? – спросил Иконников.

– Тринадцатый пошел, – отвечал Левушка. – Полость, полость стелите! Помягче – не растряссти чтобы!

– Ваша милость, у нас Сидоренко раненый, можно его туда же?

– Сидоренко, полезай! Леонтий, подай-ка чуть назад, не развернешься.

Суета, подумал Клаварош, просто суета, какая бывает после боя. Сейчас драгуны начнут разбирать лошадей и найдут его, может быть, даже помогут добраться до тех саней, куда уложили сестрицу Анюту.

– Господин Иконников, вели кому-либо тут же скакать на Пречистенку к господину Архарову, – распорядился Левушка. – Пусть все приготовят, пусть господина Воробьева хоть из-под земли достанут! Не для того я ее сберег, чтобы до врача не довезти! Да что ж вы ей раскутаться позволили?

– Так жар у нее!

– О Господи! Закройте и везите скорее!

Кто-то из драгун взял под уздцы двух лошадей и повел их прочь, не заметив Клавароша. Надо бы окликнуть, подумал Клаварош, и тут куда-то пошла третья лошадь, а голоса удалились, исчезли и пятна света на снегу и на стене. Он приподнялся на локте, ощутил жгучую боль и осторожно повалился обратно. Надо было позвать, иначе все уйдут, надо было позвать – но он так боялся усугубить боль, что ни слова не произнес. И даже закрыл глаза, как будто от этого могло произойти облегчение.

Рядом скрипнул снег – все-таки кто-то заметил его! Клаварош даже повернул голову к этому благодетелю – но, открыв глаза, увидел Демку. Тот сверху смотрел на него, не понимая, жив француз или умер. Потом потрогал его носком сапога. Лунного света было недостаточно, чтобы разглядеть и понять. Демка опустил на колени в снег и заглянул в лицо Клаварошу.

Ну что же, подумал Клаварош, иного ждать нельзя. Ему не нужен единственный свидетель его дезертирства. А списать труп на мертвых налетчиков – весьма просто.

Стало быть, все...

Того, кто может выдать, не оставляют в живых. Это он знал еще по лионским подвигам. Лакей, свидетель того, как ограбили господскую карету, обычно бывал обречен... хотя самому Клаварошу и не доводилось закалывать беззащитного...

– Ты чего это, Иван Львович? – удивленно спросил Демка. Он редко обращался к Клаварошу столь уважительно, Иваном Львовичем прозвали француза парнишки, Макарка с Максимкой.

Ответа Демка не получил.

– Ранен ты, что ли?

Клаварош опять не счел нужным отвечать. Ему претила мысль о всяком движении, и даже сбой дыхания, неизбежный при речи, казался опасным. Жизнь, похоже, и без постороннего вмешательства иссякала – и мысль о Демкином ноже уже ничего не могла ни прибавить, ни убавить. Чтобы не знать, как это произойдет, Клаварош опять закрыл глаза.

Демка, сильно озадаченный, сел на пятки. Вот сейчас француз уже совсем был похож на покойника. Упершись руками в снег возле его плеч, Демка нагнулся к самому лицу. И ощутил едва уловимое дыхание.

– Ах ты смуряк охловатый... – прошептал он почти без голоса. – Ты что ж это мне тут без смерти помираешь? Сдурел ты? Али впрямь?..

Он встряхнул Клавароша за плечи. Сотрясение болезненно отозвалось в груди, и француз, уже уверенный, что более ни одного русского слова не скажет, невольно произнес то единственное, что лишь и можно произнести в подобном положении:

– Пошел на хрен...

– Жив! – заорал Демка. – Братцы, сюда, ко мне! Жив, стоптанный хрен! Сюда! Скорее! Федька! Алеша! Федот! Сюда все! Сани заворачивайте! Господин Тучков! Клаварош тут помирает!

Голос у Демки был звонкий, молодой, из тех русских переливчатых тенорков, трепетно-мелодичных, от которых млеют купчихи и купецкие дочери, а горничные, прачки и белошвейки – просто ума лишаются. Он покрыл немалое пространство, был услышан уже выехавшими на мост драгунами, и тут же раздался ответный крик.

Первым подскакал сам Иконников.

– Что это с ним?

– А я почему знаю? – отвечал Федька. – Может, ранен! Хрен поймешь! Не раздевать же его! Велите догнать сани!

– В санях девку везут, она-то уж точно в ногу ранена, – сказал Иконников. – Ну-ка, детушки, все сюда, надобно его всем разом поднять да тут же – на конь...

Тут же рядом с Клаварошевым лицом возникли смазные драгунские сапоги, от которых за версту разило дегтем.

– Нет... – прошептал Клаварош, понимая, что дорогу в седле он не выдержит, и лучше уж помирать тут, под стеной, – хоть в неподвижности.

– Ты, сударь, покрепись, сани-то укатили, – попросил Иконников. – Костемаров, стой! Ах, блядин сын!

Демка, вскочив на освободившуюся лошадь, помчался вскачь – следом за санями, уносившими Левушку Тучкова и раненую Анюту.

Клаварош уже не хотел ничего понимать.

Он измерял время оставшейся ему жизни дыханием: вдох-выдох, вдох-выдох. И сколько их было сделано – считать не стал, ибо каждый вдох мог оказаться последним, а на том свете эта цифра решительно ни для чего не нужна.

– Возвращаются! Ах ты Господи! – удивленно воскликнул Иконников, и тут же раздался сердитый голос Левушки Тучкова:

– Где он лежит?!

Левушка тоже опустился на колени в снег и заговорил по-французски, вздохнул, отчаянно, задавая нелепые вопросы, уговаривая Клавароша не умирать. Иконников послушал-послушал, да и сам сошел с коня, чтобы руководить погрузкой Клаварошева тела на сани. Француза уложили рядом с раненой девочкой, там же съехался, стараясь занять поменьше места, пострадавший при вылазке драгун. И сани, свернув в проезд под мостовой башней, унеслись почти бесшумно – под дугой у них не было бубенчиков.

Левушка и Демка стояли рядом, глядя им вслед, и молчали.

– На конь, сударь, – приказал подпоручик. – А ты, Костемаров, к Федоту садись. Уж как-нибудь до дому довезем.

– Нам надобно на Пречистенку, к господину Архарову, – твердо сказал Левушка. – Обоим. Извольте сопроводить!

Отряд полицейских драгун наконец окончательно покинул Виноградный остров. Двое убитых, один раненый, непонятно кем застреленная лошадь – потери были допустимые. Ежели кто из налетчиков уцелел – значит, таково его счастье, а шайка уничтожена, тела валяются на берегу и на льду Серебрянки. Трое пленных со связанными руками усажены на лошадей и есть вероятность, что их удастся благополучно довести до Рязанского подворья.

В Москву возвращались по Стромынке. Драгуны переговаривались, вспоминая подробности рейда, Левушка и Демка молчали. До полицейской конторы, где сдали добычу, хорошо коли дюжиной слов обменялись.

Потом, сопроводив их до заднего двора архаровского особняка, Иконников забрал Леонтия, который правил незадолго до того прикатившими санями, отсалютовал и повел своих людей в казармы, обещавшись наутро сделать доклад обер-полицмейстеру по полной форме.

Архаров вышел навстречу в теплом шлафроке на меху, в валенках, и непохоже было, чтобы спросонья. Следом шел Саша Коробов, откуда-то сразу же явились в сенях Никодимка и Меркурий Иванович.

– Тучков! А я было не поверил! – воскликнул Архаров. – Ты-то как туда затесался?! Погоди, что это с тобой?

При свете нескольких свечек стало заметно, что Левушка сам на себя не похож – смертельно бледен, осунулся, лицо в щетине, все еще растущей не равномерно по щекам и подбородку, а пятнами.

– Николаша, – сказал он, подходя к Архарову и позволяя себя обнять, но сам даже рук не поднял. – Все мои погибли, Николаша. Сестрицы двоюродные, братец маленький, бабушка, дед, сестры матушкины, все погибли. Николаша, я их вывез! Мы четверьмя санями ехали! Одна Анята, Николаша!..

– Я за Матвеем послал, сейчас же будет тут, живой или мертвый! Бабы ее раздели, – отвечал Архаров. – Кто ж так раны перевязывает? Диво, коли ножку не придется отнять...

– Архаров, ты лучше молчи, – произнес Левушка неузнаваемым голосом. – Ты помолчи, Николаша, не то...

И тут вперед высунулся Никодимка.

– Да ваши милости Львы Сергеичи! Да что ж так все не по-людски делается! – возопил он. – Извольте к столу сперва, для вас самовар вздуваем! Кашка ваша любимая, гречневая, как нарочно, с вечера под подушками стоит, прееет! А вы-то небось, и по личику видать, оголодали! Извольте, Христа ради, к столу! Как будто мы гостя принять не умеем!

– Ты кашу будешь? – спросил Архаров, почему-то уверенный, что Левушка откажется от гречневой каши перед рассветом.

– Да, – сказал Тучков. – Буду. Я трое суток ничего, кроме снега... на ногах уж не стою... Клаварош где?

– Ахти мне! – тихо ужаснулся Никодимка.

– Ко мне перенесли, чтобы по лестнице не тащить, – сказал Меркурий Иванович. – Послушайте, сударь, совета – выпейте горячительного. Сейчас из поставца рейнского принесу.

– Да, – ответил Левушка. – Я выпью, выпить необходимо, за упокой их душ... Все погибли, все, что я теперь матушке скажу?..

И он стоял, не двигаясь с места, пока Меркурий Иванович, обняв его за плечи, не повел в столовую. Архаров пошел следом – он, когда видел всплеск сильных чувств, радости ли, горя ли, слегка терялся, потому что сам себе такого не позволял.

– Ваши милости Николаи Петровичи, так я подавать буду? – тихонько спросил Никодимка.

– Подавай, дуралей, – так же тихо отвечал Архаров. Он постарался вложить в эти слова некоторую благодарность, но не чрезмерную, баловать челядь он не желал.

И как-то вдруг все ушли из сеней, остались только Демка и Федька, прибывшие вместе с Левушкой.

Они сразу, как сюда явились, постарались встать друг от друга подальше. И сейчас не знали, как поступить. Просто поглядывали друг на друга да молчали.

Федька хотел видеть Клавароша. Решив, что это сейчас – наиважнейшее, он решительно пошел из сеней прочь, хотя от быстрых движений его заносило – все-таки Левушка крепко благословил его по башке. Но в коридоре он повстречал Никодимку. Камердинер, несясь как угорелый, едва не сбил его с ног.

– Ахти мне! – воскликнул возбужденный Никодимка. – Чего ты тут слоняешься, как неприкаянный? В людской для вас накроют! А потом – на полати... Сам-то цел?

– Цел, твоими молитвами, – отрубил Федька.

– А я молился, – вдруг сказал Никодимка. – Я всегда за всех архаровцев молюсь, вы у меня и в поминание вписаны. Утром и вечером... как же без этого?..

Ошарашенный Федька позволил камердинеру увлечь себя чуть ли не до дверей людской. Туда «черная» кухарка Аксиныя уже принесла большой горшок каши, и Никодимка сцепился с ней спорить – сперва же следовало кормить оголодавшего господина Тучкова, а она, дурища, весь горшок – сюда!

– Креста на тебе нет! – возмущался Никодимка. – Что там у тебя еще осталось? Все доставай!

Федька опомнился и поспешил к Клаварошу. Он знал, что француз очень плох, и помочь мог только одним – сесть рядом и сказать утешительное. Впрочем, он понятия не имел, чем утешать умирающего.

У дверей комнаты Меркурия Ивановича он обнаружил Демку. Демка торчал там, как хрен на насесте, совсем потерянный, и не решался войти. Однако и Федьке дороги не давал – Федьке было тошно подойти к дезертиру да еще попросить его посторониться. Он встал посреди коридорчика, полагая, что грозным своим видом вразумит Демку, и тот попятится. Но клевый шур Костемаров смотрел в пол.

Федька был прост душой – он до сей минуты и не задумался, как вышло, что сбежавший Демка вдруг оказался в отряде Иконникова. И отчего он, отыскавший помирающего Клавароша и поднявший тревогу, не решается войти, – Федька тоже сходу не задумывался. Но вот сейчас попытался свести концы с концами – и ничего у него, понятное дело, не получилось.

А спросить он никак не мог. Демка непременно огрызнулся бы – и все кончилось бы мордобоем.

Так они и стояли – ни дать, ни взять, два дурака, один понурый, другой – с приоткрытым от умственного напряжения ртом.

– Ну, теперь куда? – раздался знакомый голос. В коридорчик вошел кучер Сенька, за ним – Матвей Воробьев, только что Сенькой доставленный, с большой докторской шкатулкой в руке.

– Сюда, ваша милость, тут он лежит! У Меркурия Ивановича.

– Ну-ка, архаровец, пропусти!

Матвей, от которого – редкий случай! – не разило перегаром, быстро вошел в комнатку домоправителя.

Она была, на свой лад, еще почище Сашиной комнаты. Секретарь натащил туда книг и обвешал стенки учеными гравюрами со всякими таблицами, а Меркурий Иванович обзавелся глобусом и морскими картами. Кроме того, на столике и на подоконнике лежали стопки истрепанных нот, да и скрипку он не успел сунуть в футляр.

– Ну, что с тобой тут стряслось? – спросил Матвей, садясь рядом с постелью. – Кондрашка разбил? Не беда, с этим мы живо управимся!

Дверь он, входя, оставил приоткрытой, полагая, что следом войдут Федька с Демкой. Но они не входили, только стали так, чтобы видеть хоть часть комнаты, где лежал Клаварош.

– Это ж надо, не пуля, не шпага, а хрен знает что, – продолжал доктор, переставляя подсвечник так, чтобы лучше видеть лицо француза. – Где болит? Руки-ноги чуешь?

– Сердце, – тихо сказал Клаварош.

– Так, сердце. Первым делом ты, сударь, запомни – двигаться нельзя. Только пальчиками шевели, прочее – под запретом. И дыши тихонечко. Теперь я спрашивать буду, а ты глазами отвечай, коли «да» – моргай. С утра сердце прихватило? Днем? Ближе к вечеру? Ага. Слабость когда ощутил? Тогда же? Ближе к ночи?

Федька завороченно слушал доктора и завидовал его спокойствию. Оно, конечно, Матвей немало больных перевидал, и сам Федька в чумную пору не раз следил за агонией, чтобы тут же выволочь мертвеца крюком, закинуть на фуру и, провезя через пол-Москвы, упокоить в общей яме. Однако это был не простой больной, это был Клаварош!

Матвей пощупал Клаварошу пульс.

– Слабоват... Ты, сударь мой, лежи, не шелохнувшись, сейчас тебе питье принесут, полегчает, но – Боже упаси шевелиться. Погоди, схожу к раненой девице и к тебе вернусь.

Матвей встал и, подхватив за железное кольцо свою шкатулку, вышел из комнаты. Тут он увидел Федьку с Демкой.

– Чего это вы тут встали? А ну, живо к нему! Говорите с ним, хвалите его! Ишь, торчат! Архаровцы!

Он замахнулся кулаком на Демку и тут же поспешил прочь.

Демка покосился на Федьку. Федька покосился на Демку.

Что ж тут поделать – архаровцы... Оба. И Клаварош тоже...

Демка, поняв, что Федька с ним разговаривать не собирается, вошел в комнатку первым, сел на согретый Матвеем стул и сказал очень тихо:

– Прости смуряка, Иван Львович...

Клаварош моргнул.

Многое ему сейчас было безразлично – беда, одолевшая его тело, отнимала все внимание и все силы души. Ночная погоня за Демкой, драка, захлестнувший Демкино горло арапник – уже не имели значения. Сейчас он мог только простить.

Федька встал в дверях и смотрел на них, понимая, что между ними случилось нечто необычное, и ожидая хоть каких-то объяснений. Так они и молчали, трое архаровцев, вопреки приказу Матвея говорить приятное и хвалить Клавароша. И диким казалось, что кто-то вдруг может громко заговорить. Да и ненужным, пожалуй...

Матвей зашел в столовую, где Никодимка хлопотал вокруг Левушки. Количество тарелок и плошек на столе уже становилось нелепым – одному человеку столько и за три дня не съесть. Левушка быстро глотал гречневую кашу. Напротив сидел Архаров, грыз любимый сладкий сухарь. За спиной у Архарова стоял в ожидании распоряжений Меркурий Иванович, а Саша Коробов сидел поодаль на табурете и отчаянно зевал.

– Ты, сударь, три дня голодал? – спросил Матвей, уже знавший многие подробности от Сеньки и слуг. – Ну так и будет с тебя! Не то брюхо вывернет наизнанку. Будет, будет!

Он сам отодвинул Левушкину миску с кашей и прикрикнул на Никодимку, чтобы камердинер умерил свое рвение.

– Что Клаварош? – спросил Архаров.

– Я ему опиумной настойки в молоко накапаю, боль снимет, авось уснет, – отвечал Матвей. – И не шевелить! Никодимка, вели на поварне молока полкружки нагреть. Завтра послать за настойками – из оленьего рога и боярышниковой. Запомнил?

– Мало нам одного, теперь еще этот. Лазарет, а не дом, – буркнул Архаров.

– Лазарета ты, Николашка, не видывал. Молод, зелен! – как в былые времена, отбрил его Матвей. – Ты полагаешь, забрался сдуру в чумной барак – и все про лазареты понял. А как безумцев врачуют – видал?

– Матвей, ступай наверх, – сказал Архаров.

– Ты меня среди ночи из постели поднял, я есть хочу, – доктор сел рядом с Левушкой, который, лишившись миски, ссутулился, положил руки на колени и являл собой воплощенное бессилие. – Меркурий Иванович, это у вас рейнское, что ли?

Он плеснул вина в стопку и выпил. Спорить с ним было невозможно. Закусил соленым рыжиком, потом кинул в рот кусочек маковника. Подумал, съел еще один рыжик. Архаров следил за этим гастрономическим безобразием с любопытством.

– А с безумцами дело я имел смолоду, да еще с какими! – вдруг похвастался Матвей. – Тебе, Николаша, и не снилось.

– Матвей Ильич! – воззвал Меркурий Иванович, который страсть как любил всякие потешные истории из врачебной деятельности, однако полагал, что сейчас не до них.

– Кстати, то время, когда я умалишенных врачевал, как раз на Москву выпало. Я тогда состоял при первом ее величества лейб-медику Бургаве, а его покойная государыня всюду с собой тащила, ну и я так и катался из Петербурга в Москву да обратно. А в Москве она изволила живать месяцами. И вот как-то сбред у нее с ума камер-лакей. Буйствовать начал, на людей кидался. Но государыне кто-то наплел, что его можно запросто вылечить, и она приказала Бургаву иметь уход за камер-лакеем – убей, не помню, как эту беспокойную чучелу звали. Бургава поселили при дворе и вблизи его покоев отвели помещения для умалишенного. Ну,

ладно бы один камер-лакей, но вскоре спятить изволил полковник Лейтрум. Высвобождают еще комнату вблизи Бургава, внедряют туда Лейтрума. Недели не проходит – в Воскресенском монастыре инок святости возжелал и по той причине известных мест себя лишил, собственноручно, бритвой.

– Хотел бы я знать, как в обитель бритва попала, – заметил Архаров. – Им-то там она ни к чему.

– Видать, давно готовился и тайно принес. Это сочли новым видом безумства и, как ты полагаешь, куда девали монашка?

– К Бургаву, – покорно отвечал Архаров, быстро посмотрев на Левушку. Но тот, поди, и не слышал докторской байки.

– Стало быть, живем мы уже с тремя умалишенными. Потом к ним прибавляется майор Чоглоков – а с какой блажью, я уж запомнил. Помню только, что для чего-то по часам петухом кричал, с некой тайной целью. И, наконец, привозят еще пятого – семеновца Чаадаева. Слыханное ли дело, чтобы гвардии майор себе особливового бога изобрел? А этот громогласно признал за бога персидского шаха Надира. Составилась у нас этакая коллекция – по обе стороны помещений Бургава пять комнат, и в каждой страдалец на свой лад с ума сходит. Потом еще кого-то привезли – и иначе, как придворным домом умалишенных сей флигелек уж не называли. Потом государыне сия игрушка надоела, и мы от безумцев как-то избавились. А у тебя двое пациентов смиренхонько лежат – какого ж тебе рожна надобно?

И тут Левушка вскочил.

Он попытался что-то выкрикнуть, но звуки сбились в ком, застряли в горле, голос сорвался, Левушка бешено покраснел от натуги и стыда.

– Матвей, пошел вон! – заорал Архаров.

Доктор попятился, и тут Меркурий Иванович, обхватив его за плечи, очень быстро спроводил рассказчика прочь. А к Левушке кинулся доселе незаметный Саша Коробов, давний приятель.

– Ты сядь, сядь, – быстро заговорил он, – вот сюда, сюда, вот так... Сейчас он Анюту перевяжет, лекарства ей даст, он вылечит, доктор-то он хороший...

Левушка позволил усадить себя за стол. Вопреки Матвееву запрету, Саша стал двигать к нему миски и плошки, щедро налил в стопку вина из зеленой бутылки. Подумал, налил и себе.

– Помянем, – предложил он, – земля им пухом...

Левушка выпил вино, как воду, не ощущая его крепости и вкуса.

– Водки нужно, – негромко сказал вернувшийся Меркурий Иванович. – И спать уложить.

– Нет, – возразил Архаров. – Он сейчас очухается и заговорит. Тучков!

Левушка угрюмо посмотрел на него.

– Как это все было?

С давних времен Архаров усвоил – никого жалеть нельзя. Когда человек понимает, что его жалеют, на пользу ему сие не пойдет. И сейчас он хотел переломить Левушкино возбужденное состояние, погасить, как гасят факел в ведре с водой. Ради его же блага. Слыханное ли дело – чтобы гвардейский подпоручик визжал, как купчиха, у которой кошелек срезали?

– Как?

– Да.

– Ну, как... Ты Гребнева помнишь?

– Семеновца?

Левушка кивнул.

– Так ты рассказывай.

– Да...

Архаров молча смотрел на Левушку – без избыточного сочувствия, просто ждал. Левушка поднял глаза, увидел недвижимое крупное лицо, решительно ничего не выражающее, и вздохнул.

– А чего тут рассказывать... Когда государыня дополнительные части в Казань послала, мы с ними увязались – у меня в Заволжье, сам знаешь, что ни деревенька – то родня, у Сапрыкина тоже, царствие ему небесное, у Алеши Гребнева... Господи Иисусе, все ведь пропали...

– Пей, – сказал Архаров. – Меркурий Иванович, тащи еще, рейнского тащи, да покрепче. Так вы отпуска выправили и поехали с армией?

Домоправитель коротко поклонился и вышел.

– Ну да... Матушка меня благословила, плакала – сестрицы у нее... Сам знаешь, самозванец никого не щадит. А у нас в деревеньках кто? Старухи да дети! И старики, что еще при царе Петре воевали! Он и их вешал! Николаша, я видел – виселица, на ней дедушка восьмидесяти лет, под ней – женщины мертвые, велел застрелить... Николаша!..

Левушка опять начал закипать.

– Пей. Пей, дурак, – Архаров плеснул остатки из бутылки в стопку. – Думаешь, ты виноват? Не успел, не уберег? Пей! Жив остался – отомстишь за своих! И сие будет по-божески! Пей!

И сам опрокинул стопку.

– Я думал – успел... Мы четырьмя санями ехали, торопились, все добро побросали... У самой Москвы, Николаша! Менее двадцати верст оставалось, Николаша! В женщин стреляли, в старух... Убирайся к черту со своими утешениями! Должен был спасти, понимаешь? Я – офицер, преображенец, я должен был, должен был...

– Ты девочку спас, а касаясь других – такая, значит, воля Божья, – тихо произнес Архаров, зная, что Левушка слышит, да только разумных слов в душу не допускает.

Но друг посмотрел на него нехорошим взглядом.

– Нет на то Божьей воли! – выкрикнул он. – Завтра же еду к князю! В армию! К Бибикову! Я за все посчитаюсь!

– Меркурий Иванович, еще тащи! – заорал Архаров. – Куда ты, чучела ленивая, запропал?!

Домоправитель вошел, неся за горлышки две бутылки в соломенной оплетке.

– Ваша милость, шли бы вы спать, – сказал он Архарову без всякого почтения. – А я с господином Тучковым побуду.

– Какого черта?! – спросил, ушам своим не веря, Архаров.

Меркурий Иванович поставил бутылки на стол.

– Тут гвардейцу делать нечего. Тут лишь мы, армейцы, вразумить сумеем. Ступайте, Николай Петрович, до рассвета успеете вздремнуть, вон Саша с книжкой ждет...

– Какая, на хрен, книжка?.. – пробормотал Архаров, но тем не менее тяжело поднялся. Голову тут же повело по широкой и уходящей вверх дуге. Меркурий же Иванович сел за стол напротив Левушки, смутно понимающего, что творится вокруг, налил себе вина в пустую архаровскую стопку, выпил залпом, помолчал и тихо запел.

Пел он не ахти как – это все признавали. Однако сейчас его негромкий голос был сильнее и богаче прославленных басов и теноров придворной капеллы.

Песня была монотонная, да что уж там – вовсе заунывная была песня. Собственно, бывшему моряку, дравшемуся со шведами, раненному в славной баталии при Корпо, такого петь бы не полагалось. И Архаров не понимал, как можно дважды и трижды повторять одно и то же: «Молодой матрос корабли снастил, корабли снастил...»

Да и вообще песня среди ночи, песня там, где нужно было строгое мужское слово, – чистейшей воды безумие.

Но Меркурий Иванович, глядя в столешницу, тихо и сосредоточенно пел, а Левушка слушал и, возможно, трезвел. Он посмотрел на певца, губы зашевелились – он стал беззвучно подпевать.

Архаров боком-боком двинулся к двери. Наконец-то он осознал, что тут ему делать нечего.

* * *

Дорожный возок подкатил к дому, который, будучи покрашен в две краски, белую и зеленую, смотрел весело и являл этим хмурым утром образ недалекой весны. Краска была еще чиста и свежа – фасад недавно обновляли.

Возок сопровождал скромно одетым всадником, без шпор, в коротком полушубке, на вид лет четырнадцати.

– Тут становись, – велел он кучеру.

Кони встали, с парадного крыльца сбежали два лакея в богатых ливреях, встали перед дверцей, переглянулись – в возке было тихо.

– Спят, поди, – сказал тот, что постарше, и постучал.

Этот стук не то чтобы разбудил женщин в возке – а вывел из из тяжелой дорожной полудремоты. Хотя зимнее время располагало к путешествиям и полозья возков были куда менее беспокойны, чем колеса больших берлин, исправно считавшие на пути все ухабы, но спать настоящему было затруднительно. К тому же, их в возок набилось четверо – и ног толком не вытянуть...

– Выходи, сударыня, приехали, – сказала, осознав, что путешествие завершилось, Марья Семеновна и первая полезла из возка. На улице ее приняли лакеи, помогли выкарабкаться – сиденья в возке были низкие, а юбки – широкие и тяжелые.

Заспанная Варенька вздохнула – начиналась новая жизнь, а она всей душой еще принадлежала старой. И, спрятанный среди вещей, не давал покоя портрет бравого гвардейца Петра Фомина.

– Долго ты там, мать моя?

Варенька подобрала юбки и выбралась следом. За ней – занимавшие переднее сиденье компаньонка Татьяна Андреевна и горничная Глаша.

Мир вокруг показался ей тусклым и каким-то промозглым. Было доподлинное раннее петербургское утро. Непохожее на московские зимние утра, обычно – ясные и прозрачные, даже радостные – когда день начинался с солнечных лучей. В это время года небо уже было не таким бледным, и, невзирая на морозец, чувствовалось – вот-вот грянет весна.

Вареньке спросонья было очень зябко. Она запахнула полы шубки и, отстранившись от лакея, пошла следом за старой княжной к крыльцу незнакомого дома. Дом стоял несколько непривычно – не в глубине курдоннера, а сразу фасадом на улицу.

В сенях горел немалый камин. Тут же старой княжне, Вареньке и Татьяне Андреевне помогли освободиться от шуб, повели их наверх, в господские апартаменты, в одну из малых гостиных, которые в количестве четырех составляли анфиладу.

Толстый мажордом предложил тут же накрыть завтрак. Княжна кивнула – она старалась держаться с достоинством, но Варенька тут же уловила, что достоинство московской барыни, имеющей три десятка босоногой дворни, в царственном Петербурге выглядит несколько жалким. Сама она молчала и только оглядывала стены, украшенные бронзовыми многосвечными бра и огромными картинами. Подбор картин был неожиданным и в иное время вызвал бы у нее смех. Так, великолепный вельможа в звездных орденах соседствовал с греческой нимфой, которую соблазнял смуглокожий божок с голым задом. И тут же имелась аллегория победы в невесте каком сражении – Слава с лавровым венцом в одной руке и мечом в другой плыла, лежа

животом на облаке, к группе офицеров, там же сзади сталкивались армии и клубился пороховой дым. Возле аллегии был портрет старика в ночном колпаке и коричневом шлафроке.

Тут же явились серебряные подносы с кофеем, сливками, печеньями, кренделями, конфетами, большими пирожными. Станным показалось, что подают сливки в пост. Но москвички слыхивали, что новая столица не больно-то богомольна.

Варенька расправила юбки и села на изящную банкетку. В Москве она на таких не сиживала – и ей стало неловко за всю себя, такую «дикую», нездешнюю, не соответствующую столичной роскоши.

На другую банкетку села Марья Семеновна – с большим достоинством, очень прямо держа спину. Татьяна Андреевна встала у окошка, поглядывая разом и на старую княжну, и на улицу – там было на что посмотреть, проезжали прекрасные экипажи, а главное – статные всадники в треуголках и епанчах, те самые гвардейцы, которые в Москве доподлинно были девичьей погibelью. Годы и лицо Татьяны Андреевны были таковы, что она могла еще рассчитывать на скромную партию в лице отставного армейского капитана. Потому и не хотела упускать такую Богом дарованную возможность, как поездка в Санкт-Петербург.

Некоторое время они смотрели на дорожную посуду, на дымящийся серебряный кофейник, на молодого красивого лакея, согнувшегося над столиком в галантном поклоне и ждущего приказа наполнить чашечки.

– Что ты там вытаращилась, садись, мать моя, – недовольно сказала старая княжна Татьяне Андреевне. Ей хотелось как-то показать свою власть, а командовать чужим вышколенным лакеем она не решалась. Компаньонка покорно присела к тому же столику.

– Господи, до чего же тут тихо, – удивленно сказала она. – Не по себе делается.

– И верно, – согласилась Варенька.

Марья Семеновна недовольно на них посмотрела. Ей тоже не доставало человеческих голосов и подбострастного общества. За годы московской жизни она привыкла к тому, что ее постоянно окружают ближние женщины – прислуга, разумеется, родственницы, приживалки, и к ним постоянно добавлялись новые богомолки, чьи-то племянницы, вдовы неизвестного происхождения, совсем маленькие девочки – чьи-то внучки или воспитанницы, и все это бабье царство набивалось разом в ее спальню, и замолкало при первом звуке ее голоса, готовое со всяким словом согласиться и всякому желанию услужить.

В Петербурге же было все заведено на иной лад, она это вспомнила и нахмурилась. Но выбирать ей не приходилось.

– Ешь, Варюта, – сказала она. – А то с дороги ты как бледная немочь. Стыд кому представить.

– Я не просила меня никому представлять, – огрызнулась Варенька, – и везти меня сюда не просила.

Она с удовлетворением подумала о том, что хотя бы по части платьев смогла настоять на своем – они были темные, очень мало украшенные кружевом, с самыми скромными лентами для бантов. Чулки же гарусные Варенька велела купить черные, пряжки туфель – покрытые черным лаком. То есть, всячески показывала и старой княжке, и самой себе, что соблюдает траур. Правда, в Великий пост никто не наряжается, даже красная ленточка на лифе платья – почти грех, однако черные чулки отнюдь не обязательны.

– А это уж не тебе решать, – отрезала Марья Семеновна. – Лекарство-то выпей! Глашка! Глашка, приготовь, дура, лекарство!

Девка выскочила из соседней комнаты, пискнула что-то, кинулась обратно, наконец, принесла большую бутылку и поставила среди изящнейшей в мире посуды. Вареньке сделалось неловко.

Чудодейственное средство доставили ей еще до путешествия. В Сибири брали смолу-живицу от сосны, кедра, пихты, ели, очищали ее от сора. Потом клали в горшок, заливали

водкой, чтобы покрывала смолу на палец, и живица через несколько дней растворялась. Тогда брали одну часть смолы с водкой на две части испытанного средства – свиного нутряного сала, перетапливали и добавляли мед, лучше липовый. И, наконец, замешивали в снадобье жженую кость. Это средство Варенька пила трижды в день по ложке, и оно оказывало хорошее действие. Кроме того, ей давали водку, настоящую на березовых почках и меду.

Сперва, когда Вареньку, почти помирающую, чудом спасенную из шулерского притона, привезли к княжне Шестуновой, она от страха позволила воспитаннице все – и носить черное, и молиться за человека, который сам себя лишил жизни. Лишь бы только девушка немного поправилась, окрепла! И духовник отец Иннокентий, которому она рассказала про эту беду, благословил позволять больной все, что ей служит к утешению, до той поры, пока окрепнет и придет в рассудок.

Но теперь, когда Варенька сделалась такой, как до обострения болезни, хотя полного выздоровления ждать не приходилось, старая княжна вернулась к обыкновенной своей строгости. Беда была в том, что Варенька от несчастья повзрослела и, коли что было не по ней, знала, как дать сдачи. А ведь это можно было предвидеть – уже по одному тому, как она, влюбившись в Фомина, рвалась к жениху, невзирая на доводы рассудка.

Кроме того, старая княжна никак не могла понять, подурнела Варенька или же похоронела. Ей, получавшей деньги на содержание девушки через третьи руки от неведомого благодетеля, хотелось представить Вареньку ее знатной родне такой, какова должна быть двадцатилетняя красавица – свежей, румяной, с округлыми щеками, с белыми ручками, восхищающими приятной полнотой. Из всех достоинств, почитавшихся важнейшими, у Вареньки сейчас была разве что тонкая талия.

Готовясь к разговору, который мог быть неприятным, Марья Семеновна уже придумала, кого будет приводить в пример: сама государыня смолоду была тоща и после болезней нехороша собой, бледна до такой степени, что покойница Елизавета Петровна самолично ей через придворных дам посылала румяна.

Варенька же, глядя в зеркало, испытывала особое удовольствие – ни один вертопрах и петиметр не польстится! А умный человек даже коли заглядится на ее большие черные глаза, то ему всегда можно будет объяснить, что Варвара Пухова от замужества отеклась навеки. И когда-нибудь это осунувшееся личико будет сверху и по щекам охвачено черным монашеским платом, когда-нибудь, но не сейчас.

Тем не менее, Марья Семеновна, хотя и числилась старой девой, видела ясно, что теперь Варенькино лицо стало непостижимо привлекательным. И сама Варенька тоже это потихоньку понимала.

– Тебя привезли сюда ради важной надобности, – продолжала старая княжна, – и от того, какой ты себя окажешь, зависит вся твоя будущность.

– Мне не надобно никакой будущности, – спокойно отвечала Варенька, следя, как лакей наливает в серебряную чашку бурю настойку. Таких речей она уже наслушалась по дороге. А дорог было предостаточно. Ее, совсем слабую, увезли в большой берлине из Москвы, увезли спешно, и она поняла, в чем дело. Судя по тому, как после визита поручика Тучкова перепугалась Марья Семеновна, кому-то из шулеров, когда архаровцы разгромили их притон в Кожевниках, удалось бежать – и Варенька, узнав, могла его выдать властям. Рассуждая далее, она поняла, что это – человек одного с ней круга, ведь мудрено предположить, что особа низкого звания нарочно будет искать доступа в московский высший свет лишь ради того, чтобы быть узнанной и схваченной. И у нее было весьма отчетливое подозрение – о ком речь...

Повезли Вареньку не на юг, не в благословенную Италию, а в горы – так вдруг, получив чье-то распоряжение, решила княжна. До Италии они не доехали, а горный воздух оказался для Варенькиной груди весьма целебен. К тому же, ншелся опытный врач. Он растолковал, что

при грудной болезни нельзя доверяться лишь одному совету и пить лишь одно лекарство – а следует принимать разные, потому что лишь Богу ведомо, которое подействует целительно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.